

ИРЕНА БЕРТИ

НЕ ПО АДРЕСУ

РОМАН



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ



18+

Ирена Берти

Не по адресу

«Автор»

2026

Берти И.

Не по адресу / И. Берти — «Автор», 2026

Меня зовут Либерти. Это не настоящее имя, но настоящее я никому не говорю. Я развожу еду по Питеру на самокате с жёлтым кубом за спиной. Четыре тысячи в день, если не тормозить. Я и не тормозила. Пока не въехала в его бампер. Он сказал, что я испортила ему бампер. А я испортила ему жизнь.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	11
Да ну нахер	11
Глава 4	14
Я знаю	14
Глава 5	18
Потом отдашь	18
Глава 6	21
Вы издеваетесь?	21
Глава 7	24
Эй! Курьер!	24
Глава 8	28
Ты заказ забыл оплатить	28
Глава 9	34
Теперь это твои проблемы	34
Глава 10	40
Потом отдам	40
Глава 11	44
Не привыкай ко мне	44
Глава 12	47
Полегчало?	47
Глава 13	50
Врёшь	50
Глава 14	54
Чужая	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Ирена Берти

Не по адресу

Глава 1

Чем?

Рэм

В июне в Питере не темнеет. Небо к трём ночи просто выцветает, а к пяти снова серое и светлое, и понять, спал ты или нет, можно только по часам. Я обычно не спал. Лежал и считал, сколько машин в этом месяце ушло без проблем. Не для радости. Для контроля.

Часы застегнулись со щелчком. Этот звук я люблю больше будильника: механика честная, завёл — идёт. Рубашка белая, рукава до локтя, потому что к обеду я всё равно полезу либо под капот, либо кому-нибудь под нос. Кофе — одна чашка. Вторую было некому наливать, и меня это устраивало. Тогда устраивало.

Телефон дёрнулся на камне столешницы. Марк.

«Две сегодня. Маршрут тот же. Не опаздывай».

Три предложения, а челюсть светло. Марк никогда не пишет «не опаздывай» просто так. Я перевернул телефон экраном вниз, открыл ящик консоли и достал второй — чёрный, тупой, без лица. О нём знали трое, и все трое мне не нравились. Внутренний карман. Ящик закрылся. Щёлк.

Улица встретила сыростью и голубями. Питер утром пахнет мокрым камнем и чужим кофе. Машина стояла у бордюра, тёмная, чистая — я не люблю, когда её снимают на телефон, но люблю, когда она чистая. Сел. Не завёл. Открыл на коленях бумаги на первую пару: две машины из порта в область, документы в порядке, я за этим слежу сам, потому что если не следить, следить начнут другие.

Глухой удар в зад.

Не сильный. Такой, от которого не пугаешься, а считаешь деньги.

Я не выскочил. Я вообще не выскакиваю. Посмотрел в зеркало — ничего, кроме жёлтого пятна. Открыл дверь.

Сначала я увидел царапину. Свежая, белая на чёрном, длиной с ладонь. Я, как дурак, прикинул её пальцем, не касаясь, будто если померить, станет легче. Потом в лаке отразилось что-то жёлтое и кривое — огромный квадратный курьерский рюкзак, а под ним она.

Стояла рядом с самокатом и держала его за руль так, будто это он во всём виноват. Хвост растрёпан, в глаза лезет прядь — она её сдула, не отпуская руля. Чёрная майка, светлые джинсы, тяжёлые ботинки на шнуровке, ногти чёрные, на пальцах тонкие серебряные кольца. Дыхание сбито. Лет девятнадцать, не больше.

— Чёрт... — сказала она. Тихо. Себе, не мне.

Потом подняла глаза.

— Извините... Я не рассчитала.

— Я заметил.

Она смотрела на меня и пыталась понять, злюсь я или издеваюсь. Я и сам не понял. Злиться на неё не получалось: она стояла как человек, который виноват и это знает. Таких мало. Обычно люди начинают с «а вы сами тут встали».

— Я оплачу, — сказала она.

И я посмотрел на рюкзак. Жёлтый, с чёрными лямками, потёртый по швам. Посмотрел — и слово вылетело раньше, чем я успел его подумать.

— Чем?

Не грубо. Спокойно. Это хуже, чем грубо.

Она услышала. У неё в лице что-то щёлкнуло: глаза стали острее, губы сжались. Пальцы стиснули лямку. Большой палец один раз потёр кольцо. Руки выдавали, что ей страшно. Голос — нет.

— Найду чем.

Вот тут я её и увидел. Не лицо — лицо я уже видел. Я увидел, как человек отказывается быть слабым при мне. Со мной так почти никто не разговаривает: деньги отучают людей. Она про деньги ничего не знала и говорила как есть.

Она отпустила руль, развернулась и пошла. Быстро. Не оглядываясь. Жёлтый куб раскачивался на спине, как будто внутри у неё что-то кипело.

— Вы вообще куда так торопились? — спросил я в спину. Негромко.

— На работу, — через плечо, не сбавляя шага.

Два шага. Потом полуоборот — только голова и плечо.

— В отличие от некоторых.

И ушла. Не дождалась моего лица. А самокат остался стоять у моего колеса, как забытый ребёнок.

— Эй, — сказал я. — А самокат?

Она остановилась. Секунду стояла спиной, и я видел, как она решает: вернуться или сделать вид, что так и было задумано. Вернулась. Лицо гордое, но перекошенное — гордость ей явно жала. Взяла самокат за руль, не глядя ни на меня, ни на царапину.

— Спасибо, — сказала она. Так говорят «сдачи не надо».

— Пожалуйста.

И уехала. Жёлтый квадрат уменьшался, пока не свернул за угол.

Я посмотрел на царапину. Какого чёрта вообще произошло. Утро, машина, царапина — и девушка, которая обещала оплатить и не оставила даже имени. Взять с неё было нечего. Совсем. И я поймал себя на том, что улыбаюсь. Одним углом рта. Со мной это редко.

Сел в машину. Не завёл. Пока я стоял над царапиной, солнце наконец продралось сквозь облака и легло на лобовое — тёплое, наглое, совсем не питерское. Я набрал Костю прямо оттуда, не отъехав ни метра.

Костя — человек, который находит людей. Не друг. Но и не чужой: мы знакомы столько, что он может говорить мне то, что другим я бы не простил.

— Пробей мне человека.

— Кого?

— Девчонка. Курьер. Самокат, жёлтый рюкзак. Блондинка.

Пауза.

— Рэм. Имя.

Я открыл рот. Закрыл.

— Фамилия? — продолжал он ровным голосом. — Телефон? Номер заказа? Сервис хотя бы?

— Ничего.

— То есть ты хочешь, чтобы я нашёл в пятимиллионном городе блондинку с рюкзаком.

Я откинулся на подголовник и посмотрел в потолок машины. Там было темно, и там было честно.

— Какой же я debil...

— Это я и без звонка знал.

Я выдохнул носом. Почти засмеялся. Почти.

— И как же мне её найти?

— Только если заказывать всё подряд и надеяться, что снова приедет она.

Он думал, что шутит. Я тоже так думал.

— Спасибо. Помог.

— Ладно, до связи.

Я нажал отбой, и голос исчез, и остались машина, солнце на стекле и улица, по которой она уехала. Я смотрел на телефон в руке и ждал, когда мне станет смешно.

Не стало.

Заказывать всё подряд. И ждать. И надеяться, что однажды это будет она.

Дебильный план.

Других у меня не было.

Во внутреннем кармане дёрнулся второй телефон.

«Ты где?»

«Еду», — написал я. И добавил, сам не зная зачем: «Задержался».

День ушёл на две машины из порта. Бумаги, ключи, пломбы, старый склад у воды, где пахнет ржавчиной и Невой. Марк был весел. Когда Марк весел, я пересчитываю всё дважды. Пересчитал. Сошлось. Не сошлось только одно: я три раза поймал себя на том, что смотрю на въезд, как будто туда может заехать жёлтый куб.

Ночью я опять не спал.

Но впервые считал не машины.

Глава 2

Найду чем!

Либерти За углом я остановилась, потому что руки тряслись, а на трясущихся руках по Питеру не ездят. Ямы.

Чем.

Он сказал это так, будто спросил, который час. Даже не зло. Посмотрел на мой рюкзак — на мой честный, потёртый, кормящий куб — и спросил: чем. Как будто увидел ценник, и ценник его развеселил.

Я стояла у стены, дышала и ненавидела его так качественно, что даже успокоилась. Ненависть вообще полезная штука. Она собирает.

Потом вспомнила про самокат.

Самокат! Я ушла от него как королева — «в отличие от некоторых» — и бросила у его колеса единственную вещь, которая меня кормит. А он ещё так: «Эй. А самокат?» Не крикнул, нет. Такие не кричат. Такие говорят, и почему-то все слышат. И мне пришлось вернуться. Вернуться! Взять самокат у него из-под носа и сказать «спасибо». Я сказала. Голосом, которым говорят «сдачи не надо». Он сказал «пожалуйста». Хоть не улыбался. Или улыбался, я не смотрела.

Проспала я, если что, не просто так. Сессия. До трёх писала работу, которая никому не нужна, потом уснула, потом не проснулась. Обычная у меня ночь.

Телефон пискнул: заказ висит одиннадцать минут, рейтинг падает. Рейтинг — это тоже деньги. Я поехала.

Питер днём — это лестницы. Никто не знает город так, как курьер: не по проспектам, а по подъездам. Парадная с лепниной и кошачьим запахом. Домофон, который не работает с две тысячи девятого. Бабушка, которая пересчитывает сдачу три раза и один раз меня. Офис на пятом без лифта, где парень в футболке с надписью «СЕО» даёт сто рублей чаевых и ждёт, что я обрадуюсь. Я обрадовалась. Сто рублей — это сто рублей.

К обеду вышло четыре тысячи двести, и в перерыве я сделала глупость: загуглила «покраска бампера цена». Гугл сказал: от двадцати. Это если машина обычная. У него была необычная. Я закрыла вкладку и сидела на бордюре с шаурмой, а цифра всё равно висела в воздухе, как запах.

Найду чем. Ага. Я даже не знаю, как его зовут. И он меня не знает. Ни номера, ни имени. То есть платить я, получается, никому не должна, потому что некому. Это должно было меня обрадовать. Я доела шаурму и не обрадовалась.

Кирилл позвонил в четыре.

Кириллу шестнадцать, и он звонит, только если что-то случилось. В остальное время он пишет «норм» и «ок», и по количеству букв я определяю масштаб. Звонок — это уже не буквы.

— Оль. Ты не злись.

Так меня зовёт только он. Для всех остальных я Либерти, и это долгая история, потом.

— Где ты?

— В опорном. На Ваське. Тут тётка требует родителей.

Я не спросила «что ты сделал». Я спросила адрес. Есть вещи, которые бесполезно выяснять по телефону.

Ехала я быстрее, чем утром. Утром я хотя бы тормозила.

Опорный пункт — это комната с решёткой на окне, где пахнет чаем и чужими проблемами. Кирилл сидел на стуле у стены. Костяшки сбиты, губа разбита, лицо гордое. У него это лицо от меня. К сожалению.

Драка была из-за одноклассницы. Трое старших зажали её у школы, он влез один. Ну, не один — с ним был Стас, который на два года старше и которого я терпеть не могу. Стаса, конечно, не задержали. Стас всегда вовремя оказывается в другом месте.

Один из троих разбил при этом телефон. Свой. Об Кирилла. И теперь его отец — в дорогой куртке, с лицом человека, у которого всё под контролем, — стоял у стола и объяснял инспекторше, что телефон стоит пятнадцать тысяч и что он «не хочет ничего раздвухать».

— Родители где? — спросила инспекторша. Усталая женщина, которой не хотелось ни бумаг, ни нас.

— Отец в море, — сказала я. — Рейс до августа. Мама умерла. Я старшая, вот паспорт.

Это всё правда. Только «старшая» ничего не значит по закону, и она это знала, и я знала, что она знает. Просто ей было проще поверить. Я вообще заметила: людям чаще всего проще поверить, если говоришь без дрожи.

Она вздохнула, написала что-то в журнале и сказала «под расписку». Отец в куртке дождался, пока мы выйдем на крыльцо.

— Пятнадцать, — сказал он. — Я не изверг. Хоть частями.

— Я заплачу.

Он посмотрел на мой рюкзак. На жёлтый, потёртый, кормящий куб.

— И чем платить будете?

Второй раз за день. Я даже не удивилась.

— Найду чем.

По дороге Кирилл молчал, потом сказал:

— Я бы ещё раз.

— Знаю.

— Он её за волосы...

— Знаю, Кир.

Пятнадцать тысяч — это четыре дня без выходных, если не есть. Я это посчитала, пока он объяснял мне про волосы.

Наша квартира — это где я выросла и куда я не хожу. Лестница пахнет так же, как в детстве. Это в ней самое страшное.

В квартире было пусто, как всегда, когда отец в рейсе. Он не плохой, отец. Он просто после мамы выбрал работу, где не надо быть дома. Полгода в море, месяц здесь, потом снова. Деньги присылает, когда вспоминает, что мы едим. В прихожей висит его куртка с якорем, и Кирилл её не трогает, как будто она может обидеться.

Я разложила продукты — гречка, макароны, курица, — сунула ему тысячу наличными и велела спрятать. Приложила лёд к губе. Он терпел. Он всегда терпит, это тоже от меня.

— Оль, — сказал он у двери. — А ты когда домой?

Он спрашивает это каждый раз. И я каждый раз отвечаю одно и то же.

— Я и так дома. Просто у меня другой адрес.

Другой адрес я снимаю третий месяц: комната на Петроградской, потолки четыре метра, штукатурка сыплется прямо на матрас, зато окно в полстены, и в июне оно вообще не гаснет. Хозяйка называет это «исторический дом». Я называю это «на две тысячи дешевле».

Я лежала и не спала. В июне никто не спит, город просто врёт, что ночь.

И думала, что сейчас я бы ответила ему по-другому. Не «найду чем». Я бы сказала: у меня четыре тысячи в день, минус аренда, минус Кирилл, минус чужой телефон. Посчитайте сами, чем. Или спросила бы: а вы чем? Что вы такого делаете, что у вас бампер стоит, как моя жизнь за два месяца?

Не сказала бы. Я не такая смелая, как мне кажется по утрам.

А потом подумала совсем уж глупость. Что он посмотрел на меня — второй раз, после «найду чем» — не так, как смотрят на курьера. А как смотрят на человека, который сумел удивить. На меня так давно никто не смотрел.

Я перевернулась на другой бок и запретила себе. У меня и без него всё расписано: сессия, заказы, Кирилл, пятнадцать тысяч.

Главное — больше никогда его не видеть. Тогда и платить будет некому. Мне понравилась эта мысль. Она продержалась ровно неделю.

Глава 3

Да ну нахер

Рэм

Есть вещи, которые нельзя делать трезвым. Я сделал это трезвым, в тот же вечер, в машине на набережной, при свете, который не гас.

Приложение нашлось не сразу. Я листал экран, как человек ищет в чужой квартире выключатель: вроде должен быть здесь, а нет. Пролистал два раза. Нашёл. Жёлтая иконка. Конечно, жёлтая.

— Да ну нахер... — сказал я вслух, потому что в машине больше никого не было и кто-то должен был это сказать.

Внутри было всё, что можно купить, не вставая: еда, вода, лекарства, зарядки, корм для животных. Я смотрел на кофе и подумал, что кофе у меня есть — вон, в подстаканнике, остыл. Пролистал дальше. Вода. Салфетки. Нормально. Взрослый мужчина заказывает воду и салфетки на дом. Ни у кого не возникнет вопросов.

Палец завис над кнопкой. Секунду я честно смотрел на себя со стороны, и со стороны это выглядело именно так, как выглядело.

Нажал.

— Господи...

Ехал домой и думал, что план не может быть таким тупым, чтобы не сработать. У самых тупых планов есть одно преимущество: их никто не ждёт.

Первый курьер пришёл через сорок минут. Я успел переодеться. Зачем — не спрашивайте. Чёрная рубашка, часы, как будто у меня встреча. Домофон, лифт, звонок в дверь — и я пошёл открывать так, как хожу на переговоры: спокойно, без спешки, всё под контролем. Только рука на ручке двери была быстрее меня.

Девушка. Не та. Рыжая, в кепке, с мокрым зонтом.

— Ваш заказ.

— Спасибо.

Вода и салфетки перекочевали на кухонный остров. Я посмотрел на них, и они посмотрели на меня. Мы оба понимали, что это только начало.

Вторник. Парень с наушником в ухе. Я взял пакет и — сам не заметил как — глянул ему за плечо, в коридор. Пусто, лифт закрывается. Что я там хотел увидеть? Что она едет с ним вторым номером? Парень ничего не заметил. Парни в наушниках вообще ничего не замечают, за это их и берут.

Среда. Заказал зарядку, которая у меня есть, и батарейки, которые мне не нужны. Курьер — мужик за пятьдесят, с лицом человека, которого уже ничем не удивишь. Я его и не удивил.

Четверг. Два заказа. Утром — чипсы, которые я не ем, вечером — корм для кота, которого у меня нет. К четвергу пакеты на острове стояли в два ряда, и я перестал переодеваться. Открывал в футболке. Открывал так, как открывают дверь: чтобы закрыть.

Костя написал в четверг вечером: «Нашёл?»

«Нет».

«Продолжаешь?»

Я не ответил. Он всё понял по тому, что я не ответил. Мы для этого и знакомы столько лет.

Марк тоже написал. Со второго телефона, естественно: «Ты чего всю неделю дома?» Марку я ответил, что болею. Марк ответил: «Ага». Марк умеет писать «ага» так, что хочется проверить, закрыта ли дверь.

Дверь. Вот что я вам скажу про дверь: она стала для меня отдельным человеком. Звонок — и во мне что-то поднималось, тупое и весёлое, как щенок. Открывал — и оно опускалось обратно, тихо, без скандала. Не она. Не она. Не она. К пятнице щенок уже не вставал. Просто поднимал голову.

В пятницу приехал брат.

У меня есть брат. Старший, на три года. Мы из одной квартиры на Охте, но пошли в разные стороны: он — в музыку, я — в машины. У него нет ни одной татуировки, копна волос, которые он не расчёсывает, и глаза цвета мокрого дерева. Женщины при нём забывают, зачем пришли, но очень хотят остаться. Он единственный человек, который говорит мне «выходи» и имеет в виду не «из машины».

Он открыл дверь своим ключом, прошёл на кухню, посмотрел на остров и молча сел на диван. Потом посмотрел ещё раз.

Мы сидели. Он умеет молчать так, что хочется всё рассказать, — от бабушки досталось, не мне.

— И что она тебе вообще сдалась?

Спросил спокойно. Без ухмылки. По-настоящему.

И я чуть не ответил.

Я сидел, развалившись, и на секунду — одну, честную — во мне уже сложился ответ. Что она сказала «найду чем» и не отвела глаз. Что у неё руки боялись, а голос нет. Что со мной так не разговаривают. Что мне двадцать три и я не помню, когда в последний раз чего-то ждал.

Я сел ровнее. Руки на колени. Вдох.

И сказал другое.

— Да она ж мне машину поцарапала и свалила!

Сказал — и сам услышал, как это звучит. Встал. Сидеть под его взглядом было нельзя.

Брат кивнул. Медленно. Глаза у него уже смеялись, рот ещё держался.

— А. Ну да.

Два слова. Он смотрел на меня так, будто знает меня двадцать три года и только что услышал самую слабую ложь за всю мою карьеру. Так оно и было.

Я ничего не сказал. Он ничего не сказал. В этом молчании поместилось всё, что я не сказал, и всё, что он про это думал.

Потом он решил меня не мучить. Встал, подошёл к пакетам и начал в них копать с видом человека, который пришёл в гости к самому себе.

— О, что у тебя тут ещё вкусного есть?

Нашёл чипсы. Те самые, четверговые. Открыл на ходу, дошёл до окна и уселся на подоконник — широкий, деревянный, он на нём сидит с первого дня, как я сюда въехал. За стеклом синел город. Хруст.

Мне почти стало легче.

— Ой, смотри... — сказал брат в окно, лениво, между делом. — Блондинка на самокате.

Я не помню, как оказался у окна.

Правда не помню. Только что был на другом конце комнаты — и вот уже дышу ему в плечо и пытаюсь увидеть через него улицу.

— Что? Да ладно?

Улица была пустая.

Брат медленно повернул голову. Секунду смотрел на меня. Потом заржал — открыто, всеми зубами, как ржут люди, которые только что поймали тебя на живца.

— А-а-а... подловил тебя!

— Да иди ты.

Я отошёл от окна. Он смеялся мне в спину и лез в пачку за следующим чипсом. Я знал это лицо: «Ну всё, брат. Ты попал».

Я попал. Мы оба это знали.

Он огляделся — по-настоящему, впервые за вечер: остров, пол у дивана, коробки у стены.

— Может, хватит? А то ты тут у себя скоро не пройдёшь.

Я посмотрел на всё это его глазами. Вода. Батарейки. Корм для кота. Неделя моей жизни в пакетах.

— Не знаю... Наверное, ты прав.

Сказал устало, но без трагедии. Я и сам видел, во что это превратилось.

Он спрыгнул с подоконника, пошёл через кухню, жуя, — и на втором шаге зацепил ногой пакет. Пакет шуркнул и уехал под остров. Брат потерял равновесие, сделал лишний шаг, махнул свободной рукой, а пачку с чипсами прижал к груди, как ребёнка.

Замер. Посмотрел вниз. Потом очень медленно поднял глаза на меня.

Лицо: «Ну вот. Я же только что об этом говорил».

Полсекунды мы держались.

Потом нет.

Я не смеялся так с зимы. Он тоже. Мы ржали как в детстве, когда смешно именно от того, что нельзя. И в этой большой дорогой квартире, заваленной ненужными вещами, впервые за неделю было хорошо.

Утром я сидел в машине у набережной и знал, что делаю.

Солнце. Настоящее, редкое, без облаков. Оно лежало на капоте и на царапине, и царапина при нём была видна особенно хорошо.

— Всё, — сказал я себе. — Ладно. Последний раз и хватит.

Открыл приложение. Точка доставки — здесь, к машине. Палец пролистал, задержался, чуть не свернул всё, — и ткнул. Что заказал, не помню. Что-то маленькое и ненужное, как и всё за эту неделю.

Положил телефон экраном вниз на консоль. Откинулся на подголовник. Выдохнул.

— Да бред какой-то.

Это было честно. Я сказал себе «последний раз» и тут же повторил всё сначала. У человека с моей работой должна быть дисциплина. У меня была неделя.

Я смотрел вперёд, в лобовое, и ни о чём не думал. Впервые за семь дней я не ждал. Просто сидел. Солнце, вода, улица, машины.

Далеко, в самом конце улицы, что-то жёлтое.

Их в этом городе тысячи. Жёлтых кубов. Я это знал. Я всю неделю это знал.

Куб приближался. Самокат. Светлое пятно волос под солнцем.

Ноль целых три десятых секунды во мне не происходило ничего. Потом дыхание оставилось само, без разрешения.

Я вышел из машины раньше, чем понял, что делаю.

Дебильный план сработал.

К этому я был не готов.

Глава 4

Я знаю

Либерти

Неделя — это сорок два заказа, если считать честно. Я считала. Не заказы — дни. Пятнадцать тысяч за чужой телефон я закрыла в среду, в четверг отвезла Кириллу продукты, в пятницу сдала зачёт, на котором преподаватель спросил, почему у меня руки в мозолях, и я сказала «спорт». Он поверил. Люди верят, если говоришь без дрожи.

Про бампер я думала ровно столько, сколько разрешала себе. Минуту в день. Обычно в душе, где никто не видит, как у меня лицо становится злое. Не на него. На себя: «найду чем» — и что, нашла?

Про него я не думала совсем. Это отдельная работа, и я с ней справлялась. Почти. Один раз, во вторник, мне пришёл заказ на тёмную машину у бордюра, и я секунду не дышала, а потом подъехала — и оказалось, что это такси с уставшим дядькой, который забыл заказать сам себе кофе. Я отдала кофе и минут пять стояла, злилась. Опять на себя.

В субботу было жарко, и я надела юбку.

Это не то, что вы подумали. Просто в джинсах по такой погоде на самокате — как в термосе. Чёрная юбка, гольфы до колена, берцы, чокер. То, в чём я хожу, когда я — это я, а не «курьер, срочно, проспала». В джинсах и майке я езжу, когда не успела стать собой. В субботу успела.

Заказ упал в четыре. Набережная, точка — к машине, оплачено. Имя клиента: Рэм.

Я хмыкнула. Странное имя, три буквы, как будто кто-то не дописал. Подумала: наверное, Артём, и сын набирал. Взяла.

Ехать было приятно. Солнце — настоящее, редкое, без облаков, — вода блестела, как фольга, и ветер лез под юбку так, что я держала её одной рукой, а руль другой, и мне было всё равно. Я люблю этот город в такие дни. Он делает вид, что он южный, и у него почти получается.

Машину я увидела метров за пятьдесят.

Тёмная. Дорогая. У бордюра, носом ко мне.

Тело поняло раньше меня: пальцы сами сжали тормоз. Я сбросила скорость и подумала — нет. Таких машин в городе сто. Двести. Это не она.

Потом я подъехала ближе и увидела царапину. Белую на чёрном, длиной с ладонь.

Не покрасил.

Первая мысль была: разворачиваться. Вторая: рейтинг. Третья, самая честная: а с какой стати мне разворачиваться, я на работе, у меня заказ, а он — клиент, и всё.

Дверь открылась, когда я уже спешила.

Он вышел так, как выходят из машины люди, которые никуда не торопятся, потому что всё равно все подождут. Чёрная рубашка, рукава до локтя, часы. Смотрел на меня так, будто знал, кого увидит.

И вот тут я поняла, что он знал.

Не как. Просто — знал. У людей, которые удивляются, лицо на секунду тупеет. У него не тупело. Он смотрел на меня так, как смотрят на то, чего ждали, но уже перестали ждать. У меня в животе что-то повернулось, и я решила, что это от ветра.

— Вам? — спросила я. Голосом курьера. У курьера нет памяти, у курьера есть заказ.

— Мне.

Я протянула пакет. Он взял. И пальцы — его пальцы, в кольцах, с чернилами до костяшек, — легли на мою руку и остались там. На секунду. На одну лишнюю, ненужную, совершенно неслучайную секунду.

Я не отдёрнула. Хотела. Не отдёрнула.

Потом он убрал руку, и я стояла с пустой ладонью, как дура, и не знала, куда её деть.

— Спасибо, — сказал он.

— Пожалуйста.

Мы оба слышали, как это прозвучало. Как тогда. Только наоборот.

Я собиралась уехать. Правда собиралась. Взяла самокат за руль, начала разворачивать — и краем глаза, совсем не специально, посмотрела внутрь машины.

На переднем сиденье лежали пакеты. Три. Бумажные, с ручками, из доставки. На заднем — ещё. Коробка. Бутылка. Стаканчик. Ещё пакет.

Я посмотрела на него. Потом обратно на пакеты. Потом на него.

Он стоял с моим пакетом в руке и смотрел на меня с лицом человека, который знает, что его сейчас спросят, и не собирается объяснять.

Я продержалась полсекунды. Честно. Потом меня пробило — не смех даже, а выдох носом, а за ним уже смех, настоящий, который не остановишь, потому что картинка была слишком дурацкая: взрослый мужчина, тёмная машина за пять моих жизней, а внутри — доставка, доставка, доставка.

— Ого... — сказала я сквозь смех. — Вы там что, магазин открыли?

Он глянул через плечо на свою машину. Как будто впервые её увидел. Что-то дрогнуло у него в углу рта, но не выросло в улыбку.

— Что-то вроде.

Сухо. Без единого оправдания. И это было смешнее всего.

— Ну... — я всё ещё смеялась, разворачивая самокат, — удачи с бизнесом.

Я сказала это через плечо, как говорят «пока» человеку, которого больше не увидишь. И толкнулась ногой.

— Постой.

Одно слово. Тихое. Ниже, чем всё, что он говорил до этого.

Я остановилась. Не потому что он попросил. Потому что голос изменился, а я такое слышу. Курьер слышит всё: в домофоне, в «оставьте у двери», в «сдачи не надо». Я обернулась.

И сразу поняла, зачем. Царапина. Неделя прошла, он меня нашёл — не знаю как, но нашёл, — и сейчас будет про деньги. Спокойно, вежливо, как он умеет. «Чем?» Я уже слышала это лицо.

Так что я сказала первой. Чтобы не он.

— Про машину-то я помню, — сказала я. — Просто ещё не успела.

Он посмотрел на меня так, будто я заговорила на другом языке. Не понял. Правда не понял — не притворялся. Секунду искал, о чём я, потом нашёл, и на его лице ничего не изменилось, кроме того, что царапина ему, кажется, была неинтересна вообще. — Сколько я вам должна?

— Ты мне имя должна, — сказал он.

Вот так. Не деньги. Не «когда отдашь». Имя.

Я стояла с рукой на руле и чувствовала, как у меня уезжает пол. Я неделю носила эту царапину, как долг. Считала. Гуглила. А он взял мой долг и переписал его в одно слово — и всю неделю у него, получается, не было даже этого.

— Либерти.

Он моргнул. Ждал чего-то обычного — Кати, Насти. Получил это.

— Рэм.

Сказал и посмотрел на меня так, будто вручил что-то ценное. Как будто я должна была ахнуть.

А я вспомнила заказ. Четыре часа дня, набережная, к машине, оплачено. Три буквы, как будто кто-то не дописал.

— Я знаю.

Я сказала это легко. Между делом. И увидела, как у него что-то остановилось. Не в лице — за лицом. На секунду он стал совсем другим человеком: собранным, холодным, готовым. Как будто «я знаю» — это не про имя.

— Что знаешь? — спросил он.

Спокойно. Даже с улыбкой. Но улыбка приехала на полсекунды позже, чем надо.

— Имя твоё, — сказала я. — В заказе было написано.

И он выдохнул. Совсем чуть-чуть. Плечи опустились на миллиметр, челюсть отпустило. Кто угодно не заметил бы. Я заметила, потому что смотрела.

— А ты что подумал?

Он посмотрел на меня. Долго. Потом дёрнул уголком рта:

— Что ты слишком много знаешь.

Это была шутка. Он так её подал. Но я уже видела ту секунду за лицом и знала, что шутка — это дверь, которую он закрыл, пока я не успела заглянуть.

Ладно. У меня тоже есть двери.

— Есть что скрывать? — спросила я. Легко. Почти смеясь.

Он не ответил сразу. Опустил глаза. Не отвёл — опустил, вниз и внутрь, как люди делают, когда вопрос попал не туда, куда его бросали. Секунды две. Город шумел, вода блестела, ветер дёргал юбку, я держала её рукой и ждала.

Потом он поднял глаза. Абсолютно серьёзные.

— Есть.

Я перестала улыбаться. Не специально. Просто лицо само.

Он держал паузу. Долго. Достаточно, чтобы я успела подумать: а вдруг. А вдруг я стою на набережной с человеком, у которого пакеты в машине, три буквы вместо имени и такая секунда за лицом, и он мне сейчас скажет —

— Я ужасно готовлю.

Ровно. Без улыбки. Как факт.

Я секунду смотрела на него. Потом засмеялась — второй раз за десять минут, а я так не смеюсь неделями. Он смотрел на меня и только тогда улыбнулся сам. Не на свою шутку. На меня.

И мы стояли. Он с пакетом, я с самокатом, на набережной, на солнце, и никто не уходил, хотя уходить было пора обоим.

Уехала я первой. Потому что кто-то должен.

На светофоре у моста я открыла приложение — закрыть заказ — и впервые посмотрела, что там было. Что он заказал к машине на набережной, в субботу, в четыре часа дня, при пакетах, которые некуда было девать.

Салфетки. Одна пачка.

Я стояла на красном и смеялась одна, и водитель в соседней машине посмотрел на меня как на ненормальную. Пусть. Салфетки. Он заказал салфетки, чтобы найти меня, и нашёл, и стоял с ними в руке, и спросил имя.

По дороге до следующего заказа я повторяла: Рэм. Три буквы. Странно, что человеку хватило трёх, а мне для имени понадобилось целое слово, и то чужое.

И только у третьего подъезда до меня дошло, что было не так.

Я сама напомнила ему про машину. Сама. Первая. А он не услышал. Стоял рядом с царапиной, смотрел на меня и спросил имя.

Я не знала, что хуже: когда с тебя требуют или когда с тебя не требуют. Второе было непонятнее. И, кажется, дороже.

Глава 5

Потом отдашь

Рэм

Теперь у меня было имя, и план перестал быть дебильным. Он стал просто плохим.

Курьера в приложении не выбирают. Заказ уходит в район, и кто ближе, тот и едет. Но район у меня был один и тот же, а она работала в нём, и математика была на моей стороне: примерно раз из четырёх дверь открывалась — и это была она.

Первый раз она стояла на пороге с пакетом и смотрела на меня так, будто я её обманул.

— Это ты, — сказала она. Не вопрос.

— Это я.

— Ты тут живёшь?

— Обычно да.

Она оглядела прихожую за моей спиной — камень, дерево, много воздуха — и ничего не сказала. Отдала пакет. В пакете была вода. Она посмотрела на воду, потом на меня.

— У тебя кран не работает?

— Работает.

— Ясно.

И уехала. А я стоял с бутылкой воды и понимал, что мне двадцать три года и я только что был счастлив от слова «ясно».

Второй раз она принесла зарядку и спросила, сколько у меня телефонов. Я сказал: один. Это была первая ложь, которую я ей сказал, и она была маленькая, и я её запомнил.

Третий раз она не дала мне открыть рот:

— Салфетки. Опять. Ты ими что делаешь?

— Вытираю.

— Что?

— Разное.

Она засмеялась. Коротко, носом, как тогда на набережной. И я понял, что заказываю салфетки не потому, что они мне нужны, а потому что она на них смеётся.

Остальные три раза из четырёх приезжали чужие. Я брал пакеты и не смотрел им за плечо. Я больше не надеялся на каждую дверь — я знал, что она приедет, рано или поздно, и это было хуже, чем не знать. Когда не знаешь — ждёшь. Когда знаешь — считаешь.

Брат сказал, что у меня лицо человека, который выиграл в лотерею и теперь боится выйти из дома. Брат много чего говорит.

Белые ночи кончились в июле. Город начал темнеть, сначала на час, потом на три. Я это заметил, потому что впервые за несколько лет мне было куда смотреть по ночам, кроме потолка.

А потом была та ночь.

Она началась на складе. Марк привёз две машины вместо одной, и по бумагам вторая была лишней, и я спросил, откуда она, и он сказал «потом», и улыбнулся, и я понял, что «потом» — это никогда. Мы не поругались. С Марком не ругаются. С ним считают — и я насчитал такое, что сел в машину и не смог завести.

Есть вещи, от которых я хожу пешком. Не езжу — хожу. Оставляю машину, где стояла, и иду, пока в голове не станет тихо. Обычно хватает часа. В ту ночь я шёл второй.

Час ночи, мокрый асфальт после дождя, фонари. Питер в это время принадлежит тем, кому некуда идти, и таким, как я, — кому есть куда, но не хочется. Я шёл вдоль пустой улицы и ни о чём не думал, и это было почти хорошо.

Остановку я увидел издали — стеклянная коробка, свет внутри, одна фигура. Прошёл ещё шаг. Потом ещё. И только потом голова догнала глаза.

Волосы. Светлые. Руки, обхватившие себя за плечи.

Она.

Я не остановился. Это важно: я не остановился и не побежал. Я просто изменил направление, как меняют, когда вспоминают, что забыли что-то в машине. И пошёл к остановке чуть быстрее, чем шёл до этого, и заметил, что иду быстрее, и не стал замедляться.

Она увидела меня метров за десять. Сначала — просто кто-то идёт. Потом — я. И у неё что-то мелькнуло в лице, быстрое, светлое, и она это сразу спрятала, но я уже видел. Она была рада. Секунду. Потом сделала вид, что нет.

Я подошёл и не знал, что сказать. Со мной это редко. Огляделся: остановка, пустая дорога, она.

— Ты чего здесь?

— Автобус жду.

Она посмотрела на меня так, что я услышал всё, чего она не сказала: остановка, ночь, ну а что ещё я тут могу делать, гений.

Я посмотрел на пустую дорогу. Потом на табличку с номерами. Потом на неё.

— А. Логично.

Она не выдержала — улыбнулась. Опустила глаза, чтобы я не видел, но я видел. Мы стояли и молчали, и молчание было не как на складе. Оно ничего не требовало.

— Давно ждёшь?

— Минут десять.

Сказала ровно. Без жалобы. И тут же обхватила себя руками плотнее — не заметила, что сделала это. Ветер прошёл по улице, дёрнул её волосы, положил прядь на щёку. Она подняла одно плечо. Без куртки. В час ночи. В конце июля, который в Питере ничем не отличается от октября.

Я смотрел на её руки. Пальцы потёрли предплечье — один раз, быстро, — и она остановила себя.

— Ты замёрзла.

Не вопрос. Просто сказал, что вижу.

— Нет.

Она выпрямилась, как будто спина могла это доказать. И ровно в эту секунду ветер дунул снова, и она сжалась вся, плечи внутрь, руки к себе, — и сама услышала, как её тело только что сказало «да».

Я ничего не ответил. Дёрнул бровью. Выдохнул носом. Она это тоже услышала.

Куртка снялась сама. Я не решал — руки решили. Она увидела, что я делаю, и сказала «не надо» тем голосом, которым говорят, когда очень надо. Я не стал спорить. Я сделал шаг и положил куртку ей на плечи — не обнял, не притянул, просто накрыл. Тяжёлая, чёрная, она сразу стала на два размера больше неё.

Она потянулась снять.

— Не снимай. Холодно.

— А ты?

Спросила по-настоящему. Не для галочки. Посмотрела на мою рубашку, на голые до локтя руки, и ей стало не всё равно. Это я запомнил лучше, чем всё остальное за ту ночь.

— Да мне нормально.

Она посмотрела на меня взглядом «ага, конечно». Я почти улыбнулся.

И тут заметил, что прядь её волос попала под воротник. Лежит там, прижатая, светлая на чёрном. Я потянулся — двумя пальцами, аккуратно — и вытащил её наружу. Не коснулся шеи. Не задержался. Убрал руку сразу.

Она замерла. Не испугалась — просто вдруг поняла, насколько я близко. Открыла рот что-то сказать — и забыла что. Мы стояли в двадцати сантиметрах друг от друга, и я сделал шаг назад, потому что если бы не сделал, то не знаю.

Она подтянула куртку к себе. Спрятала руки в рукава по самые пальцы. Не заметила, что делает.

— Ты ночью всегда случайно оказываешься где надо?

Спросила легко, глядя на дорогу. Как будто вопрос ни о чём. Но ждала.

— Не всегда, — сказал я. Помолчал. — Иногда заказываю доставку.

Она посмотрела на меня из-под бровей. Пыталась не улыбаться. Не смогла. Выдохнула носом. Я тоже — потому что она поняла. Три недели назад она бы не поняла.

Мы стояли рядом и смотрели на пустую дорогу, и разговаривать было уже не обязательно.

Потом в конце улицы появились фары. Большие, медленные. Автобус.

Она заметила первой. Я — по её лицу. Что-то в нём погасло, чуть-чуть, и она сразу это выровняла. Я посмотрел на автобус. Потом на неё — в моей куртке, с руками в рукавах.

Автобус подъехал, зашипел, открыл двери. Она шагнула к ним. Остановилась. Обернулась — и вспомнила.

— А куртка?

— Потом отдашь.

Сказал так, будто это ничего не значит. Она услышала, что значит. Я видел, как она это услышала: секунда, и в глазах появилось что-то, чего там раньше не было. Она сделала ещё шаг к двери и бросила через плечо:

— А если не отдам?

Проверяла. Я знал, что проверяет.

— Значит, придётся тебя найти.

Она посмотрела на меня. Хотела ответить — и двери начали закрываться. Она шагнула внутрь. Стекло встало между нами. Она смотрела на меня через стекло, я на неё, и это длилось столько, сколько длится, когда автобус трогается. Она пыталась не улыбаться. Я — тоже.

Автобус ушёл. В окне мелькнула моя куртка на её плечах. Потом фонари, потом ничего.

Я стоял на пустой остановке в одной рубашке, и мне было холодно, и это было лучшее, что случилось со мной за прошедшие пару лет.

Домой я дошёл к трём. Разделся, налил воды, вышел на балкон — и по привычке хлопнул себя по карману за сигаретой и зажигалкой.

Карман был не тот. Куртка была не на мне.

Я стоял на балконе и медленно понимал. Зажигалка. Старая, тяжёлая, с гравировкой, которую я не выбирал. Пять лет она была со мной каждый день — не потому что я курю, а потому что её нельзя терять. Так мне сказали, когда давали. И я не терял. Ни разу.

Сейчас она ехала в автобусе. В кармане моей куртки. У девушки, которая не знала, что это.

Надо было испугаться. Я знал, что надо. Марк бы испугался за меня.

А я стоял и думал только одно: значит, точно придётся найти.

Глава 6

Вы издеваетесь?

Либерти

У курьера есть память на адреса, а не на людей. Так удобнее. Люди меняются, орут, не открывают, а адрес — он всегда там, где был. Поэтому я не сразу поняла, что происходит. Я поняла это по адресу.

Второй раз он всплыл во вторник. Тот же дом, тот же подъезд, тот же этаж без цифры — там лифт открывается сразу в прихожую, и это единственный такой этаж на моём районе. Я посмотрела на экран, и у меня внутри стало тихо, как перед тем, как что-то уронить.

Отказаться было можно. Минус рейтинг, минус сорок минут, и всё. Я не отказалась. Сказала себе: работа. Курьер не выбирает, курьер везёт. Хорошее объяснение, я им потом ещё неделю пользовалась.

В первый раз я привезла ему воду. Он открыл — и стоял в дверях так, будто дверь не его, а моя, и это он в гости. За спиной у него было много воздуха. Камень, дерево, окно во всю стену. Я успела подумать: тут, наверное, страшно уронить чашку. И ещё подумала, что человек, которому я неделю должна царапину, живёт в квартире, где царапины, скорее всего, никто не считает.

Я спросила про кран. Он сказал — работает. Я сказала — ясно.

«Ясно» — это моё лучшее слово. В нём помещается всё, что я думаю, и ничего, что можно предъявить.

Во вторник была зарядка. Он взял её из моих рук, как берут вещь, которую не собирались покупать, и я спросила, сколько у него телефонов — просто чтобы что-то спросить, потому что молчать в этой прихожей было невозможно, она тебя ела.

— Один.

И ровно на слове «один» у него в заднем кармане что-то зажужжало. Коротко. Он не дёрнулся. Даже бровью не повёл. А я работаю с телефонами по десять часов в день и слышу, как они звонят из соседней комнаты, через стену, из-под подушки. Тот, что на столе за его спиной, лежал экраном вниз и молчал. Значит, в кармане был второй.

Я ничего не сказала. Курьер слышит всё и не говорит ничего — за это, по сути, и платят. Но я положила это себе в тот же карман, куда положила «есть что скрывать» с набережной. Карман начинал оттягивать.

Третий раз — салфетки.

Я приехала уже с готовым лицом. Он открыл, я не дала ему рта раскрыть, спросила, что он с ними делает. Он сказал — вытираю. Что? Разное.

И я засмеялась. Опять. Это, кажется, третий раз за две недели, и все три — на него, и меня это начинало пугать, потому что я не смешливая. Я тяжёлая. Мне так сказали ещё в школе, и я согласилась.

Он стоял и смотрел, как я смеюсь, и лицо у него было довольное. Не самодовольное — а как у человека, у которого получилось. И вот тут до меня дошло окончательно. Не догадка — знание. Он это делает. Заказы. Он их делает, чтобы я приезжала, и не заказывает ничего нужного, потому что ему не нужно ничего, ему нужно, чтобы дверь открывалась — и там я.

— Вы издеваетесь?

Я сказала «вы». Мы уже неделю были на «ты», с набережной, но «вы» — это моё рабочее. Это когда я курьер, а он — клиент, и между нами приложение, а не что-то там ещё. Я умею возвращаться в «вы» за полсекунды. Проверено на тех, кто лезет.

Он услышал. Понял, что это. И не обиделся — вот что было самое обидное.

— Немного.

Спокойно. Даже честно. Как «да, я тебя вижу, и мне не стыдно».

Я стояла с пакетом, и он протянул руку — взять. Обычный жест. Так берут всё на свете. Только я помнила бережную: пальцы, кольца, секунду, которая была лишней. Я помнила, что тогда не отдёрнула. И что потом полдня думала об этом больше, чем о деньгах.

Так что я не отдала пакет в руку. Я наклонилась и поставила его на тумбу у двери. Рядом с его ключами. Аккуратно, как ставят то, что легко разбить.

— Оплачено, — сказала я. И ушла к лифту.

Он ничего не сказал вслед. Но я спиной чувствовала, что он стоит в дверях и смотрит, пока лифт не закрылся. Это тоже умение: чувствовать спиной. У курьера спина — самая рабочая часть.

В лифте я посмотрела на свою руку. Пустую. Ту, которую он не взял, потому что я не дала. И подумала: ну вот. Победила. Почему тогда такое ощущение, как будто отдала что-то большее, чем салфетки?

Кирилл писал каждый вечер. Одно слово, обычно «норм». Иногда «норм, ел». По его меркам это письмо на три страницы.

В четверг он написал «приедешь?», и я поехала. Домой — туда, куда не хожу. Лестница пахла, как всегда. Куртка с якорем висела в прихожей, как всегда. Кирилл сидел на кухонном подоконнике в одной футболке, а окно было открыто настежь, потому что он жарил яичницу и что-то пошло не так. Он сказал, что нормально. Пахло так, что было не очень нормально.

Мы просидели до часу. На кухне, при открытом окне, потому что закрывать было хуже. Разбирали, как это будет: если отец не вернётся в августе, а он мог не вернуться, рейсы удлиняют, это бывает. Считали. Я всё время считаю — это моя болезнь и мой хлеб.

Когда я уходила, он сидел всё там же, у открытого окна, и его трясло, а он делал вид, что нет. Шестнадцать лет. У них это семейное — делать вид.

Я сняла толстовку и бросила ему.

— Не надо.

— Надевай. Мне нормально.

Он надел. Она была ему мала в плечах и велика в остальном — он рос быстрее, чем я успевала это замечать. Я вышла на лестницу и только там поняла, что на улице ночь, август, Питер, и что я в одной кофте.

Ничего. До остановки — десять минут. Ночной автобус ходит. Мне нормально.

Что было на остановке, я знаю. Я там была.

Но если честно — я не всё помню в порядке. Помню, что было холодно так, что перестаёшь притворяться, и что я всё равно притворялась, потому что притворяться — это тоже способ согреться. Помню, как он появился. Не как в кино — не «вдруг». Просто шёл человек, потом стало понятно, что это он, и у меня внутри что-то сделало «о», а я это «о» быстро убрала, как убирают телефон, когда входит преподаватель.

Помню «ты чего здесь». Помню, что чуть не сказала «доставку жду». Не сказала. Сказала про автобус и посмотрела на него так, чтобы он сам всё понял. Он понял. Ему стало неловко, и мне от этого стало хорошо — впервые за всё время неловко было не мне.

Куртку я не хотела брать. Правда не хотела. Не из гордости — из страха, что если возьму, то буду должна. Я и так была должна ему царапину и целую неделю. Куртка — это уже перебор.

А он не спрашивал. В этом всё дело. Он не уговаривал, не шутил, не ждал, что я сдамся. Он просто накрыл меня ею — так, как накрывают ребёнка, который заснул в машине. И я вдруг не смогла ничего сказать, потому что в эту секунду вспомнила, как час назад делала то же самое с Кириллом. Точно так же. Молча. «Мне нормально».

Кто-то сегодня уже был мне.

Потом прядь. Я знаю, что это было: он вытащил мои волосы из-под воротника. Две секунды. Не тронул шею. Ничего не сказал. И убрал руку.

Так вот. Я к тому моменту собиралась сказать: «Спасибо». Простое слово. Я открыла рот — и пока он вытаскивал прядь, слово из меня вылетело и не вернулось. Я стояла с открытым ртом и не помнила, что такое «спасибо». Мне девятнадцать лет, и я забыла слово из семи букв, потому что человек дотронулся до моих волос. Это ужасно. Я никому об этом не расскажу.

Про доставку я спросила специально. Хотела услышать, что он скажет. Он мог соврать — «случайно», «шёл мимо». Он сказал: «Иногда заказываю доставку».

Он признался. Просто так, на остановке, в час ночи. Признался, что все эти салфетки — это он, и что он знает, что я знаю, и ему всё равно. Я стояла в его куртке и думала, что человек, который так легко признаётся в маленьком, обычно очень тяжело признаётся в большом. И что у него в кармане два телефона, а не один.

Потом автобус. «Потом отдашь». «А если не отдам?». «Значит, придётся тебя найти».

Я хотела ответить. У меня было, что ответить — что-то хорошее, я это чувствовала на языке. Двери закрылись раньше. И я ехала, и злилась на двери, и понимала, что это, наверное, к лучшему: то, что я хотела сказать, лучше было не говорить.

В автобусе было четыре человека и водитель. Я села в конец, к окну.

Куртка на мне была как дом. Тяжёлая, чёрная, рукава до пальцев. Я думала, она будет пахнуть чем-то — духами, парфюмом, тем, чем пахнут такие машины и такие квартиры. Она пахла улицей. Холодом. И чуть-чуть чем-то горьким, как табак, но не табак. Я не смогла определить и перестала пытаться.

Руки сунула в карманы, потому что они замёрзли до того, как я это поняла. Правый — пустой. В левом — что-то тяжёлое.

Я вытащила.

Зажигалка. Не пластиковая — металл, старый, потемневший. Такой становится серебро, если его не чистят и носят. В нижнем углу — знак. Крошечный, с ноготь мизинца, выбитый в металле: ромб, а внутри ромба ещё что-то мелкое, чего не разобрать в автобусном свете. Не буква, не логотип. Похоже на окно с решёткой. Или на печать — такую, которой в детстве играли в "секретики". Я повертела. Знак не объяснился.

Она была тёплой — от его кармана, а потом от моего. Я держала её в кулаке и смотрела в окно. Мост. Вода чёрная. Фонари в ней ломаются и собираются обратно.

Мне вдруг пришло в голову, что вернуть куртку — это закончить. Отдать, сказать «спасибо», получить «пожалуйста», и всё, долг закрыт, история сходится с нулём. Он это тоже понимал, поэтому сказал «потом». «Потом» — это чтобы не закрывать.

А если не отдавать — то он придёт. Сам. Не через приложение, не через салфетки. «Придётся тебя найти». Я хотела посмотреть, правда ли придётся. Проверить. Я всегда проверяю — это у меня от отца: он никогда не верил прогнозу погоды, выходил на палубу и смотрел сам.

Я щёлкнула зажигалкой. Просто так. Она зажглась с первого раза — ровный, высокий огонёк, — и водитель посмотрел на меня в зеркало.

Я погасила и убрала её в карман.

Неделю я ездила с долгом. Считала, что должна. Ходила с этим, как с камнем в ботинке.

Теперь на мне была его куртка, а в кармане — его зажигалка, которую он, кажется, не хотел терять. Я это чувствовала по весу: такие вещи не носят просто так.

Теперь должен был он.

Глава 7

Эй! Курьер!

Рэм

Четыре дня я жил без куртки и без зажигалки, и второе было заметнее.

Не потому что нечем прикурить. Прикурить есть чем всегда — у брата, у Марка, у любого на складе. А потому что рука. Пять лет она знала, куда лезть: правый карман, металл, вес. Теперь лезла — и находила ткань. Раз двадцать в день. Я ловил себя на этом, как ловят на нервном тике, и злился, и через полчаса лез снова.

Никто не заметил. Никому не приходит в голову следить, чем человек прикуривает. Брат протягивал свою, Марк — свою, я брал, кивал, отдавал. Вещь весом в сто граммов исчезла из моей жизни, и мир не дрогнул. Дрогнула только рука.

И я ни с кем про это не говорил. Не потому что тайна. Потому что если сказать вслух «я оставил зажигалку в куртке, а куртку — на девушке», то придётся объяснять, что за девушка, и я не знал, как это объяснить так, чтобы не звучало, как звучит.

Про куртку я не думал. Куртка — это тряпка. А вот про то, что она сказала «а если не отдам», — думал. Она это сказала не как «отстань». Она сказала это как «а что ты сделаешь». И я ответил, и двери закрылись, и я не знал, что она ответила бы. Четыре дня это было хуже всего: не знать, что человек сказал бы, если бы двери не закрылись.

Найти её было легко. Я знаю людей, которые находят людей. Один звонок — и у меня был бы адрес, фамилия, группа в университете, номер, всё. Костя сделал бы это за час и не спросил бы зачем.

Я не позвонил.

Потому что это было бы как с царапиной — найти и предъявить. А я хотел, чтобы она сама. Не понимаю, откуда это во мне взялось. Я никогда ничего не ждал от людей — я делал, чтобы они делали. А здесь стоял и ждал, как ждут автобус, который, может, не ходит.

На пятый день сдался. Открыл приложение. Салфетки уже были бы издательством даже по моим меркам, и я заказал кофе. Два. К машине, у кафе на Литейном, где я ждал человека по делу, — это был первый заказ за месяц, у которого была хоть какая-то причина, кроме неё.

Человек опаздывал. Я стоял у машины и ждал, и вот тут ко мне подошла девушка.

Это бывает. Часто. Я не хвастаюсь — я к этому отношусь, как к дождю: идёт и идёт. Машина, рубашка, кольца, лицо, на котором ничего не написано, — люди читают это как объяснение, хотя я ничего не вешал. Обычно я говорю два слова, и человек уходит. Иногда не уходит.

Эта не ушла.

Приятная, лет двадцать пять, светлое платье, каблуки, которыми по Литейному не ходят, а показывают. Спросила про машину. Я ответил. Спросила, жду ли кого-то. Я сказал: да. Она сказала: «Ну, пока ждёте», — и засмеялась, и я подумал, что человек, которого я жду, опаздывает уже на двадцать минут и это его последнее опоздание.

Я не грубил. Я не умею с женщинами грубо — не научили. Стоял, отвечал через слово, смотрел мимо. Обычно этого хватает.

Ей не хватило. Она шагнула ближе и сказала: «У вас тут», — и потянулась к воротнику. Поправить. Есть такой жест — ничего не значит и значит всё сразу, — и женщины, которые липнут, знают его наизусть. Я не отстранился. Отстраняться — это тоже разговор, а я не хотел

разговаривать. Просто стоял, терпел её пальцы у шеи и смотрел вверх её плеча на улицу. Никуда.

И увидел.

Жёлтый квадрат. Самокат. Она ехала по той стороне улицы, вдоль домов, и уже смотрела сюда. Уже увидела. Я понял это по тому, как самокат сбавил — не остановился, а поехал медленнее, как едут, когда ноги забыли, что делать.

Она смотрела на чужую руку у моего воротника.

Я бы отдал многое, чтобы увидеть её лицо крупно. Но было далеко, и я видел только то, что видно издалика: она перестала жевать. Я не знал, что она жуёт жвачку, пока она не перестала.

Потом она увидела, что я вижу. Дёрнулась. Отвела глаза на дорогу, как будто дорога — это то, на что она смотрела всё это время. И очень отчётливо, специально, жевнула ещё раз.

Она разворачивалась. Я это понял раньше, чем она толкнулась. И сделал то, чего не делал никогда в жизни — ни с кем, ни на одной улице, ни при каких людях.

Я крикнул.

— Эй! Курьер!

Через всю улицу. Голосом, который у меня есть только для склада. Девушка у воротника вздрогнула и убрала руку. Двое за столиком кафе обернулись. Мне было всё равно — впервые в жизни всё равно, кто смотрит.

Она остановилась.

Не сразу. Самокат проехал ещё метр, и я видел, как у неё опустились плечи — на секунду, вниз, как у человека, который ругает себя за то, что остановился. Она закрыла глаза. Открыла. И медленно обернулась.

Девушка рядом спросила: «Это кто?» Я не ответил.

Мы смотрели друг на друга через дорогу. Между нами проехала машина, и я подумал, что если она уедет, пока машина закрывает, то я, наверное, побегу. Это было бы уже совсем. Машина проехала. Она стояла.

И через улицу, ровно, холодно, голосом, которым говорят «оплачено»:

— У вас опять доставка?

«Вы».

Она сказала мне «вы». Через две недели после того, как я вытаскивал её волосы из-под своего воротника. Через четыре дня после того, как она уехала в моей куртке. «Вы» — как дверь, которую закрыли у меня перед носом, вежливо так, чтобы я услышал замок.

И я засмеялся.

Не хотел. Вышло само — коротко, вслух, так, что девушка в платье посмотрела на меня, как будто я заговорил на другом языке. Я обычно не смеюсь вслух. Брат говорит, что последний раз это было в детстве, и то по ошибке. А тут стоял посреди Литейного и смеялся, потому что девятнадцатилетняя девочка сказала мне «вы» через улицу, и это было самое злое, самое честное, самое обнадеживающее, что мне говорили за год.

Я покачал головой. Не ответил. Что тут ответишь — «да, опять»?

Она смотрела на меня. Потом — я видел это, как в замедленной съёмке, — перевела взгляд на девушку рядом со мной. Медленно. Сверху вниз, как оценивают. Платье, каблуки, рука, которая только что была у моего воротника. И обратно на меня. И подняла бровь.

Одну.

Я мог бы сказать. Одно слово через улицу — «не то», «липнет», «жду человека». Она бы, может, и не поверила, но услышала бы.

Я не сказал.

Потому что бровь — это было признание. Ей было не всё равно, кто поправляет мне воротник. Она стояла на той стороне и злилась на женщину, которую видела первый раз в

жизни, и не понимала, что этой злостью только что ответила на всё, что я не успел спросить на остановке. А я стоял и смотрел, как она злится, и не хотел, чтобы это кончалось.

Я улыбнулся шире. Не смог не.

Она увидела. Поняла, что я понял. Лицо у неё стало такое, как у человека, который вслух сказал то, что думал, и услышал себя.

Развернулась. Толкнулась так, что самокат вильнул. И уехала.

С моим кофе. Два стакана, в жёлтом рюкзаке, за угол, с глаз.

— Это кто? — спросила девушка в платье ещё раз.

— Курьер.

— А орать-то зачем?

Я посмотрел на неё. Первый раз за десять минут — прямо. Она поняла, что разговор кончился, ещё до того, как я открыл рот, и ушла на своих каблуках в сторону кафе, и ни разу не обернулась. Правильно. Это бывает часто, и кончается всегда одинаково, и я про неё забыл раньше, чем она дошла до двери.

А про бровь — нет.

Она сейчас будет думать, что я с кем-то. Я это понимал. Девочки так умеют — думать долго, с подробностями, дорисовывать. И я мог это остановить одним словом через улицу — и не остановил. Потому что «пусть думает» было единственным, что осталось у меня в руках. Она уехала с курткой, с зажигалкой, с кофе, с чужой женщиной у моего воротника — и у меня осталось только то, что она про это думает. Я не хотел это отдавать. Даже правде.

Человек, которого я ждал, так и не пришёл. Я про него тоже забыл.

Через десять минут телефон дёрнулся. Не тот, что в кармане, — тот, что для обычной жизни. Уведомление из приложения:

Заказ отменён курьером. Клиент не найден. Средства возвращены.

Клиент не найден.

Я стоял и читал это три раза. Клиент — это я. Я стоял у машины, по адресу, на виду, орал через улицу. И она написала «не найден». И вернула деньги.

Мне никогда не возвращали денег. Мне их либо отдают, либо должны. Возврат — это когда человек говорит: мне от тебя ничего не надо. Даже твоих трёхсот рублей.

Это было хуже бровей. Хуже «вы». Она сказала — нет. И сделала это через приложение, официально, с уведомлением, чтобы я точно прочитал.

Лучше бы забрала кофе.

Вечером был склад, и Марк, и разговор, которого я ждал четыре дня.

Вторая машина стояла у дальней стены, под чехлом. Я не спрашивал, что в ней, потому что уже знал, что за ответ будет. Марк сказал, что в субботу ночью она уходит. Есть люди, есть покупатель, есть окно. Мне надо просто быть.

— В субботу у брата концерт, — сказал я.

Марк посмотрел на меня, как на человека, который сказал «в субботу у меня день рождения».

— Ночью. Концерт кончится.

— Я сказал, что буду.

— Будешь. — Он улыбнулся. — Я позвоню, когда будет пора. Ты возьмёшь трубку.

Не вопрос. У Марка нет вопросов. Есть то, что будет.

Я вышел на улицу, полез в карман за зажигалкой, нашёл ткань. Постоял. Во дворе склада было темно, и Марк за спиной, и вторая машина под чехлом, и суббота, и «ты возьмёшь трубку».

А я думал: она ездит с моей зажигалкой по городу.

И ещё думал: она вернула деньги, а куртку не вернула.

Значит, не «нет».

Значит — «найди».

Глава 8

Ты заказ забыл оплатить

Либерти

«Клиент не найден» я написала на светофоре, не снимая перчатки. Пальцы сами. Приложение спросило, уверена ли я, и я нажала «да» так, как хлопают дверью.

Потом стояла на красном и ждала, что станет легче. Не стало. Стало как после драки, в которой ты победил, а домой идёшь с разбитой губой.

Кофе я выпила сама. Оба. Один сразу, второй остывший, через час, на скамейке у Кирилла под окнами, — и второй был хуже, потому что я уже знала, что пью его кофе, и всё равно пила. Так он ещё раз оказался у меня внутри, и это было нечестно.

Про женщину я думала ровно так: Красивая. Платье светлое, летнее, такое, в котором не ездят на самокате. Рука у его воротника. Он не убрал. Стоял, смотрел и позволял. Я это видела, я не придумала — я курьер, у меня глаза работают на расстоянии километра.

И он ещё крикнул. «Эй, курьер». При ней. Как будто я — заказ, который подъехал не вовремя.

А потом засмеялся.

Вот это я не могла себе объяснить. Всю обратную дорогу и ещё четыре дня. Он смеялся не надо мной — я знаю, как смеются надо мной, это я понимаю. Он смеялся так, будто ему сделали подарок. И от этого было ещё хуже, потому что подарок, получается, сделала я, и не знала, какой.

Куртка висела на стуле. Четыре дня. Я её не трогала и не убирала — нельзя было ни то, ни другое. Зажигалка лежала не в ней, а в моём внутреннем кармане, где ключи, и я носила её с собой везде, сама не понимая зачем. Может, чтобы отдать, если встречу. Может, чтобы не встретить.

В клуб меня позвал Данил. Кажется, Данил. С потока, кудрявый, высокий, из тех, кто сдаёт всё с первого раза и не понимает, почему остальные нервничают. Он позвал после зачёта, при всех, легко: «Пойдём в субботу, там группа играет, нормальная». Обычно я говорю «нет» до того, как дослушаю. У меня нет времени на субботы. У меня Кирилл, заказы и долг, который недавно переписали в имя.

Я сказала «да».

Не из-за Данила. Из-за платья. Из-за руки у воротника. Из-за того, что я четыре дня ходила с чужой зажигалкой в кармане и дорисовывала чужую женщину, а сама за год ни разу не была там, где можно посидеть, расслабиться, и не надо ничего считать. Мне тоже можно. Я решила это на светофоре, там же, где нажала «клиент не найден».

Одевалась долго. Это ужасно — одеваться не для работы. Для работы просто: юбка, гольфы, берцы, рюкзак, поехали. А тут я стояла перед зеркалом и не понимала, кто в нём должен быть. В итоге вышла та же самая — чёрное, чокер, стрелки. Только без рюкзака, и от этого спина всё время чувствовала, что чего-то не хватает.

Зажигалку взяла. Сама не знаю.

Клуб был в подвале на Лиговке — низкий потолок, кирпич, сцена с ладонь. Людей набилось столько, что стало жарко ещё до выхода группы. Данил взял мне что-то с лимоном и рассказывал про группу, а я кивала и смотрела на сцену, потому что смотреть на Данила было не за что: он хороший, и это всё.

Группа вышла в одиннадцать.

Певец — высокий, широкий, с тёмными волосами, из тех, кто сам таскает усилители и не считает это работой, — вышел без спешки, как выходят на свою кухню. Гитара в его руках казалась маленькой. Он сказал два слова в микрофон, и зал ответил ему так, как отвечают своему, — не аплодисментами, а гулом, по имени, с задних рядов кто-то крикнул что-то, и он засмеялся. Его тут любили. Это было видно сразу, без песни.

Данил вернулся с двумя бокалами — высокими, на ножке, с чем-то светлым, — и поставил один передо мной так осторожно, будто он мог обидеться.

— Спасибо, — сказала я.

Он сел рядом, наклонился к уху, потому что было громко, и сказал что-то, чего я не расслышала. Переспросила. Он повторил — про то, что бас у них лишний, а барабанщик один держит всю группу, и что он это говорит третий год всем, и никто не слушает, — и это было так серьёзно и так ни о чём, что я засмеялась. По-настоящему. Данил улыбнулся, довольный. Мне было хорошо. Первый раз за год мне было просто хорошо — громко, тесно, ничего не надо считать, — и я подумала, что зря отказывалась от суббот, и что, может быть, зря отказывалась от многого.

Эта мысль продержалась ровно столько, сколько длился смех.

Потому что на смехе я подняла глаза — просто так, посмотреть, — и увидела его.

Через два стола. Он сидел. С компанией: парень в тёмном поло, светлая девушка, и рыжая — красивая, в бордовом платье на тонких лямках, с такими плечами, что на них хочется смотреть даже мне. Рыжая как раз наклонилась к нему, что-то говорила, и положила руку ему на предплечье. На чернила. Как кладут, когда можно.

А он не слушал её. Он смотрел на меня.

Уже. Давно, судя по лицу. Он видел, как Данил принёс бокалы, как я сказала «спасибо», как наклонился к уху, как я засмеялась. Всё видел. И у него на лице не было ничего — вот это было самое плохое. Я ждала чего угодно: бровь, полуулыбку, «эй, курьер». А он смотрел, как на пустое место, и это была ложь, я видела, что ложь, — челюсть у него стала другая, — но он держал.

Я тоже держала. Улыбка ещё не сошла с губ, и я её не убирала, потому что если убрать — значит, признать, что он её убрал. Мы смотрели друг на друга через два стола и через людей, которые ходили между нами. Но ничего не менялось. Прошла будто бы целая вечность.

Потом рыжая снова что-то сказала ему, и её рука на его руке двинулась, и я, не хотела, но — посмотрела на эту руку.

Он увидел, куда я посмотрела.

И вот тут у него что-то изменилось. Не в лице — глубже. Он понял. Я это видела так же, как видела бы, если бы он сказал вслух: она смотрит на руку. Ей не всё равно.

Мне стало очень жарко. Не от клуба.

Парень в поло что-то спросил у него. Он не ответил. Он взял телефон со стола, встал — резко, так, что вся компания переглянулась, — кинул им что-то короткое, одно слово, и пошёл к выходу. Не оглянулся. Компания смотрела ему вслед, как смотрят вслед человеку, который вышел не вовремя и не туда. Рыжая пожала плечами.

Данил спросил меня, всё ли нормально. Я сказала «да». А разве по моему лицу было не видно, что всё нормально? Но он поверил.

Я досчитала до тридцати. Честно — почти до тридцати. Потом сказала, что мне душно, и пошла.

Дверь была тяжёлая, и за ней сразу стало холодно и тихо — бас остался внутри, как будто его закрыли в коробке.

Он стоял метрах в пяти от входа. Не курил. Сигарета была у него в пальцах, опущенная, и он про неё, кажется, забыл. Стоял, смотрел в мокрый асфальт, и большим пальцем крутил кольцо. Раз. Два. Остановился.

Я ничего не собиралась говорить. У меня не было плана. Я вышла, потому что не могла сидеть. И вот теперь стояла на верхней ступеньке, под фонарём, и понимала, что сейчас придётся стоять перед ним и что-то из себя изображать.

Он повернул голову. Не тело — голову. Увидел.

И не удивился. Вернее, удивился — но не тому, что я вышла. Тому, что он этого ждал. Я это поняла по тому, как у него отпустило лицо.

Я открыла рот. Закрыла. Ничего не придумала. Сжала пальцами край жилетки, как будто она могла подсказать. Посмотрела вниз, потом на него. Между нами было пять метров мокрого асфальта, и мимо проехала машина, и фары прошли по луже, и когда проехала — мы всё ещё смотрели.

Я сделала шаг. Один. Вниз, со ступеньки. Потом ещё — и остановилась в двух метрах от него, потому что дальше было бы уже что-то значить. Он не двинулся. Смотрел. Руки я держала при себе, как держат сумку в метро.

Он смотрел на меня ещё секунду. Дольше, чем надо. Губы разошлись — сейчас скажет. Не сказал. Что-то дёрнулось у него в лице, он выдохнул, отвёл глаза и кивнул. Не мне — себе. «Хватит».

Развернулся и пошёл.

Просто пошёл. По мокрому тротуару, туда, где кончался свет от фонаря. Не быстро. Так уходят, когда решили.

Я стояла и смотрела ему в спину, и в голове у меня было очень тихо, а потом стало очень громко, потому что я поняла: он правда уходит. Не «сейчас обернётся». Уходит.

Тело сделало это раньше меня. Два шага. Быстрых, по луже, я даже не заметила, что по луже. И рука.

Я поймала его за рукав.

За ткань. Не за руку, не за запястье — за чёрную рубашку, и она собралась у меня в пальцах складкой. Он остановился, как останавливается машина, когда дёргают ручник, — сразу, всем телом.

И не обернулся.

Вот это было самое долгое. Он стоял ко мне спиной, я держала его за рукав, и оба не двигались, и бас из-за двери стал вдруг далёким, как будто кто-то накрыл его подушкой. Я смотрела на свои пальцы на его ткани и не понимала, чьи они. Они ослабли — сейчас отпущу. Не отпустили.

Он медленно опустил глаза. На мою руку. Я видела это в профиль: как взгляд идёт вниз, к рукаву, к пальцам, потом к своей руке, которая висела вдоль тела и один раз сжалась и разжалась.

Челюсть. Раз.

И только потом — голова. Он повернул голову ко мне, и глаза пошли от моей руки вверх, к лицу, и остановились. Мне стало не по себе.

Я держала его за рукав. Я не знала, что сказать. Всё, что было во мне уверенного, кончилось где-то на втором шаге. Мы смотрели друг на друга, и он сделал ко мне полшага — крошечных, я бы и не заметила, если бы не стояла так близко, — и я не сделала назад.

И ещё полшага.

Я не помню, кто из нас его сделал. Кажется, оба. Я всё ещё держала его за рукав, и ткань натянулась, и он оказался прямо надо мной — так близко, что я перестала видеть улицу. Только его. Фонарь ушёл ему за спину, и на меня легла тень, и в этой тени было тихо, как будто мы вошли куда-то, где нет двери.

Он выше меня. Мне пришлось поднять лицо. Я подняла.

Он смотрел на мои губы. Не отводил. Первый раз за всё это время он ничего от меня не прятал — ни ту секунду за лицом, ни «что-то вроде», ни «есть» вместо ответа. Просто

смотрел, и в этом взгляде было всё, чего он не сказал через улицу и не сказал на остановке. Я это прочитала целиком, за один раз, и у меня не осталось воздуха.

Я не отодвинулась. Я даже не подумала отодвинуться. Наоборот — пальцы на его рукаве сжались, и я потянула, чуть-чуть, сама не заметила, что тяну. Он наклонился ниже. Его дыхание коснулось моей щеки — тёплое, горькое, то самое, чем пять дней пахла куртка на моём стуле. Значит, это был он. Всё это время — он.

Я закрыла глаза.

Не потому что так положено. Потому что смотреть на него с такого расстояния было невозможно — как в открытый огонь. Я стояла с закрытыми глазами, с его рукавом в кулаке, и ждала. Не думала — ждала. Всей собой. Мне девятнадцать лет, я целовалась до этого два раза в жизни, и оба раза это было ничто по сравнению с тем, как я сейчас ждала.

Ещё чуть-чуть. Полвдоха. Я почувствовала, как он двинулся ко мне, —

Щёлк.

Дверь.

Я открыла глаза — и он уже был на шаг дальше. Отодвинулся так быстро, что я не успела увидеть как. Между нами снова стоял воздух — холодный, уличный, чужой, — и щека, к которой только что было тепло, сразу это поняла. И губы поняли. Я стояла и чувствовала, как они остывают, хотя ничего же не было. Ничего не было.

Я узнала его раньше, чем обернулась. По тому, как стало теплее спине — свет из клуба, красный, — и по тому, как у Рэма изменились глаза: он увидел кого-то за моим плечом, и в них что-то закрылось на один оборот.

— Ты идёшь?

Данил. Спокойно, без обиды, через музыку. Он стоял в дверях, высокий, с красным светом за спиной, и смотрел на меня с лёгким недоумением человека, который вышел покурить и попал не на ту улицу. И в тот момент он меня ужасно бесил.

Пауза. Он ничего не сказал.

И я вдруг увидела себя со стороны. Как это выглядит: девочка, которая пришла с одним, держит за рукав другого посреди улицы. Пальцы сами разжались — почти. Ослабли. Ткань начала выскальзывать.

Рэм это заметил.

Лицо у него закрылось окончательно. Он отвёл взгляд, вдохнул — коротко, как перед тем, как поднять что-то тяжёлое, — и сделал шаг. Уйти.

И я схватила его снова.

Сильнее, чем в первый раз. Не думая. Ткань собралась в кулаке. Он замер. Я сама не поняла, что сделала это дважды, — поняла только, что не могу, что если он сейчас уйдёт, то это всё, и «всё» — это слово, которое я не хотела произносить даже внутри.

Он посмотрел на мою руку. Потом на меня. И у него в глазах было такое, что я поняла: это его задело сильнее, чем он хотел показать. Гораздо.

— Зачем ты вышла? — спросил он. Тихо. Как будто Данила за моей спиной не было. Как будто вообще никого не было.

Я не ответила сразу. Дышала. Потом сказала — тоже тихо, так, чтобы только ему:

— А ты правда не понимаешь?

И у него что-то дрогнуло в лице. Не улыбка. Не удивление. Что-то опаснее — как будто он на секунду разрешил себе надеяться и тут же запретил. Он сделал ещё полшага.

— Тогда скажи.

Я смотрела ему в глаза. И на секунду — меньше, чем на секунду, я не хотела, оно само — на рот. И обратно. Он заметил. У него остановилось дыхание, я это услышала, потому что стояла близко.

Я вдохнула. Губы разошлись.

— Я... — сказала я. — Да потому что я...

И посмотрела на Данила.

Он так и стоял в дверях. Не ушёл. Не подошёл. Ждал — вежливо, без претензий, — и смотрел на меня. На нас. На эту всю нелепую ситуацию.

И всё, что я собиралась сказать, встало на место, как стена. Я почувствовала, как оно встаёт физически — где-то под горлом. Я не могла это сказать при нём. Не потому что Данил что-то значил. Потому что он смотрел, а то, что я собиралась сказать, нельзя говорить, когда смотрят.

Рэм ждал. Всё ещё ждал. Глаза у него были открытые, такие я у него не видела ни разу, — и я в них смотрела и врала.

— Ты заказ забыл оплатить.

Голосом курьера. Ровно. Правдоподобно — для Данила. Пальцы у меня сделали лишнее движение по ткани, я переступила с ноги на ногу, и глаза отвела на долю секунды, — и всё это он видел. Он понял, что это не то. Что после «да потому что я» не бывает «заказ забыл оплатить». Что я взяла всё, ради чего вышла, и переписала в триста рублей, которые сама же ему вернула.

Я наклонилась чуть ближе. Тише. Так, чтобы Данил не расслышал:

— И зажигалку забыл.

Это было ещё хуже. Я сама услышала, что хуже: я сделала из этого что-то практическое, мелкое, из списка. Куртка, зажигалка, деньги. Как будто вышла на улицу за человеком, чтобы закрыть заказ.

Он посмотрел на меня. Потом — один раз, коротко — на Данила. Без злости. Просто посмотрел, как смотрят на причину. На такую дебильную причину. И обратно на меня.

И тепло ушло у него из глаз. Я видела, как уходит. Не резко — как отлив. Нижние веки чуть опустились, взгляд стал ровный, как у чужого. Он никуда не двинулся, но отступил. Я это почувствовала так, как чувствуют, когда с плеч снимают куртку.

— Хорошо, — сказал он.

Без сарказма. Без ничего. Просто: я понял.

И держал на мне глаза ещё секунду после слова. И я поняла, что он понял. И мне стало стыдно — не за ложь, за то, что он ждал другого. Может быть, надеялся. Я это увидела уже задним числом, когда оно ушло.

Он вдохнул и собирался что-то сказать — я не знаю что, я никогда не узнаю, — и — Телефон.

Не звонок — вибрация, из брюк, тупая, как зубная боль. Он закрыл рот. Не потянулся сразу. Посмотрел на меня ещё долю секунды.

Вторая вибрация.

Он достал. Не глядя, наощупь — как достают то, что всегда лежит в одном месте. Второй. Я знала, что второй. Посмотрел на экран, и у него что-то изменилось в глазах — не страх. Узнавание. Он знал, что это.

— Извини. Я отвечу.

Почти виновато. Он не повернулся ко мне спиной — он сказал «извини», как говорят, когда разговор не закончен. Я кивнула. Он отошёл на три-четыре метра — не далеко, ровно столько, чтобы я не слышала слов.

Я слышала. Курьер слышит всё.

«Да». Пауза. «Где?» Пауза. «Понял».

Между «да» и «где» из трубки сказали «у нас проблема». Между «где» и «понял» — «на старом складе». Низкий голос, спокойный, без паники. Так говорят люди, которые давно не паникуют.

А Рэм за эти десять секунд стал другим. Не так, как со мной, — совсем. Как будто того человека, который стоял и ждал, что я скажу, кто-то выключил, а включил того, у которого «есть что скрывать», у которого «что ты знаешь», у которого секунда за лицом. Спина стала прямее, слова — короче, и он слушал так, как будто от этого что-то зависело.

Он убрал телефон. И вернулся.

Вот это я запомню: он вернулся. Не ушёл с телефоном в темноту. Прошёл эти три метра обратно и встал передо мной, и лицо у него было уже собранное, чужое, — но когда он заговорил, в голосе что-то вернулось. Немного. Мне хватило.

— Прости. Мне надо срочно ехать.

Просто. Без тайны. Как правду.

Я кивнула. Ничего не сказала. Смотрела ему в лицо и пыталась понять, что только что изменилось и куда он едет, и он посмотрел на меня ещё раз — коротко, не закончив, — и пошёл.

Мимо меня. Так близко, что рубашка на секунду закрыла мне фонарь. Потом — мокрый тротуар, угол, и всё.

Я стояла с зажигалкой в кулаке — я, оказывается, держала её в кармане всё это время, — и могла отдать. Тридцать секунд назад. Просто протянуть. Он бы взял. «И зажигалку забыл» — вот, держи, всё, долг закрыт.

Не отдала.

Данил так и стоял в дверях. Молчал. Он ничего не спросил — и за это я была ему благодарна больше, чем за бокалы.

Я знаю, как звучит «срочно». «Срочно» бывает разное: «срочно, ребёнок плачет», «срочно, гости пришли», «срочно, я уезжаю». Его «срочно» было не про гостей. Так говорят, когда едут не к женщине. Так говорят, когда едут туда, откуда могут не вернуться к утру.

Я стояла на мокром тротуаре, за дверью играла лучшая группа в городе, в дверях ждал чужой кудрявый парень, который ничего не спросил, а у меня в кулаке грелась чужая зажигалка, и мне вдруг стало важно, куда человек едет. По-настоящему важно, как не было ни разу.

Не ко мне. Куда.

И ещё: я соврала ему в глаза, когда он ждал правды. Я это унесла с собой домой, и оно не помещалось ни в один карман.

Глава 9

Теперь это твои проблемы

Рэм

До старого склада двадцать минут, если ехать как человек, и двенадцать, если ехать как я в ту ночь.

Я ехал и не помнил дороги. Руки помнили — руль, поворотник, третья, четвёртая, — а голова осталась там, на мокром тротуаре у клуба, и никак не хотела садиться в машину. Я её звал. Она не шла. Стояла, где стояла: в двух шагах от двери, с её пальцами на моём рукаве.

Вот что я понял про себя за эти двенадцать минут: меня можно остановить.

Я не знал этого. Двадцать три года не знал. Меня не останавливали ни Марк, ни деньги, ни люди с голосами, как у Кости. Я уходил, когда решал уйти, — это было единственное, что у меня никогда не отбирали. А сегодня девятнадцатилетняя девчонка взяла меня за рубашку у локтя, за ткань, даже не за руку, — и я встал. Как вкопанный. Как машина, у которой кончился бензин посреди моста.

И не обернулся. Не мог. Я стоял к ней спиной и чувствовал через рукав её пальцы, и они дрожали, и я думал: если сейчас повернусь, она увидит на моём лице «наконец-то», — а «наконец-то» я никому не показывал, никогда, оно у меня, кажется, даже не было предусмотрено.

Повернулся всё равно.

Что было дальше, она знает лучше меня. Я знаю только, что со мной происходило внутри, а внутри происходило вот что: я перестал считать.

Я всегда считалю. Расстояние до человека, секунды до ответа, сколько он стоит и сколько я ему должен. Это не привычка — это способ не умереть в моей работе. С женщинами я тоже считал, всегда, даже когда они этого не видели: сколько можно подпустить, когда отойти, что она возьмёт и что попросит. Близость для меня была сделкой, просто без бумаг.

А тут я стоял над ней, вплотную, и не считал ничего. В голове было пусто и светло, как в квартире, из которой вынесли мебель. Я видел её так близко, как никогда не видел: стрелки у неё были не одинаковые. Правая чуть выше левой, на миллиметр, и в конце — маленькая зазубрина, где дрогнула рука. Она рисовала их сегодня сама, перед зеркалом, для этого вечера, и не заметила. А я заметил — и от этого миллиметра у меня что-то сжалось под рёбрами сильнее, чем от всего остального. Я смотрел на её лицо с расстояния, с которого лица уже не видят, а помнят, — и понимал, что запомню.

А потом она закрыла глаза.

И вот это меня добило. Не то, что закрыла, — то, что я понял, что это значит. Она мне доверяла. Просто так, посреди улицы, человеку с двумя телефонами и с секундой за лицом, — доверяла настолько, что перестала смотреть. Никто не должен мне так доверять. Я сам себе так не доверяю. И я не наклонился дальше не потому, что не хотел, — хотел так, что до сих пор больно, — а потому что за эту секунду успел подумать: а что я ей дам, кроме этого? Что у меня есть, что можно дать человеку, который закрыл глаза?

Ничего у меня не было. Только вдох, которого не хватило.

А потом дверь.

Я отодвинулся раньше, чем она открыла глаза, и это единственное, чем я в ту ночь горжусь. Не из-за кудрявого. Просто то, что должно было случиться, нельзя, чтобы случилось при свидетелях. Оно было не для двери, не для улицы, не для парня с двумя бокалами. Оно было для нас. У меня в жизни очень мало вещей «для нас». Я не хотел, чтобы первую из них видели.

Кудрявый выдал «ты идёшь?», и я его возненавидел за то, какой у него голос. Спокойный. Хороший. Так говорит человек, которому не за что бояться.

А потом она разжала пальцы.

Не отпустила — начала. Ткань пошла из её руки, и я почувствовал это так, как чувствуют, что лёд под ногой уже треснул, но ещё держит. И сделал то, что умею лучше всего: закрылся. Вдох, взгляд в сторону, шаг. Всё, что нужно, чтобы уйти, у меня отработано до автоматизма, я ухожу лучше, чем делаю всё остальное.

Она схватила снова.

Сильнее. В кулак. И вот тут во мне что-то сломалось, тихо, как ломается замок, когда ключ поворачивают не в ту сторону. Она сделала это дважды. При нём. Зная, как это выглядит. Девочка, которая держала меня за рубашку посреди улицы и не отпускала, потому что не могла.

«Зачем ты вышла?»

Я спросил, чтобы услышать. Я знал зачем. Я хотел, чтобы это было сказано вслух — мне, при нём, чтобы стало правдой, которую нельзя отменить.

«А ты правда не понимаешь?»

Я понимал. И внутри что-то разрешило себе — на секунду, не больше, — и я это разрешение тут же отобрал, потому что надежда в моей жизни всегда стояла дороже, чем то, на что надеялся.

«Тогда скажи».

Она посмотрела мне на рот. Меньше секунды. Я видел, что она не хотела и не смогла удержать, и мне от этого стало так, как не бывало ни от одной женщины, которая делала это специально.

Она вдохнула. Начала. «Да потому что я...»

И её глаза ушли мне за плечо.

Я увидел, как она закрывается. Это было как смотреть, как гаснет свет в окне, на которое ты долго шёл. Она увидела кудрявого — и всё, что собиралась сказать, встало у неё где-то под горлом, я видел, где именно, я знаю это место, у меня там стоит примерно то же самое всю жизнь.

«Ты заказ забыл оплатить».

И я вдруг узнал этот голос. Не её курьерский — свой. Так я разговариваю с людьми, когда правда слишком дорогая: беру что-то мелкое, правдоподобное и подаю вместо. «Что-то вроде». «Один». «Я ужасно готовлю». Она сделала со мной то, что я всю жизнь делаю с другими, и сделала хорошо, — и я стоял и понимал, что научил её. Не специально. Просто рядом со мной так учатся.

«И зажигалку забыл», — тише, одному мне.

Из того, зачем вышла, она сделала список. Куртка, деньги, зажигалка. Как будто пришла закрыть заказ.

Я посмотрел на кудрявого. Один раз. Не как на соперника — как на причину. Он не был виноват. Он просто стоял в дверях, и при нём нельзя было сказать то, что она собиралась. И я понял, что если бы на его месте стоял кто угодно — Ника, брат, Марк, — она бы тоже не сказала. Дело было не в нём. Дело было в том, что она боялась этого больше, чем я.

Это меня успокоило. Странно, но да. Я не один здесь трус.

«Хорошо».

Одно слово, в котором помещается всё, чего не скажешь. Я произнёс его и почувствовал, как отхожу от неё, не двигаясь, — как отходит вода. Мне не было больно. Мне было пусто, ровно, как в машине с выключенным двигателем. И в этой пустоте я успел подумать: не то. Ты не это хотела сказать. Скажи то.

Я набрал воздуха, чтобы это произнести.

И в кармане брюк дёрнулся второй телефон.

Костя говорит так, как будто за каждое слово платит. «У нас проблема». Я сказал «понял», и всё остальное во мне встало на свои места — как по команде, как всегда. Есть человек, который отвечает за машины, и есть человек, который стоит с девушкой у клуба, и они не знакомы. Я это давно устроил. Так проще.

Только в ту ночь они впервые оказались на одном тротуаре, и одному пришлось уйти.

Я вернулся к ней. Три метра. Это было важно — вернуться, не раствориться с трубкой в темноте, как делают, когда хотят, чтобы за ними подумали. Я встал перед ней и сказал «прости, мне надо срочно ехать», и это была первая честная фраза за вечер — с обеих сторон.

Она кивнула. Смотрела мне в лицо и искала того, кто был минуту назад. Не нашла. Я его сам не нашёл бы.

Прошёл мимо неё. Мимо кудрявого. Он не сказал ни слова. Умный.

И вот теперь ехал двенадцать минут вместо двадцати и не помнил дороги.

Старый склад — это не наш склад. Наш — светлый, с камерами, с бумагами, куда клиенты приходят смотреть машины и где всё честно до последней шины. А этот — на промзоне у воды, за контейнерами: ржавые ангара, бетон, вода в лужах по щиколотку и такой ветер с залива, что дождь летит не сверху, а сбоку. Марк снял его полгода назад «под переизбыток». Я был в нем три раза. Все три — ночью.

Ворота ползли вбок, когда я подъехал, — тяжёлые, мокрые, с таким звуком, будто их открывают первый раз за год. За ними фары. Две машины, мои, обе целые — я это увидел раньше, чем вышел, потому что первое, что я всегда смотрю, это машины. Несколько человек в темноте. Дождь в свете фар стоял стеной.

Я приехал в одной рубашке. В той самой. Она промокла на плечах за десять шагов, и мне было всё равно.

Марка я услышал раньше, чем увидел. Он смеялся.

Не так, как смеются, когда что-то случилось. Так, как смеются в баре, когда хорошо. Молодой, настоящий, лёгкий смех — и от него у меня внутри всё встало ровно, как перед дракой. Марк смеётся, когда ему интересно. А интересно ему становится там, где остальным страшно.

Он стоял у капота, опершись рукой, с двумя ребятами, и увидел меня, и смех ушёл — но не из глаз.

— А вот и ты.

Как будто я опоздал на что-то, что мы делали уже сто раз.

— Что случилось?

— У нас небольшая проблема.

«Небольшая» он сказал так, как говорят «немножко беременна». Я посмотрел на машины. На людей. На открытые ворота ангара за его спиной, где горела одна лампа.

— Насколько?

Он оттолкнулся от капота и пошёл к ангару, и я пошёл рядом — не за ним, рядом, это важно, у нас так всегда, — и он сказал, не поворачивая головы:

— Две машины и один идиот.

— Идиот наш?

— К сожалению.

И ещё раз коротко выдохнул смехом. Я не улыбнулся. Но угол рта дёрнулся — я знал, какая это будет ночь. С Марком все ночи одинаковые: сначала смешно, потом нет.

У входа стоял Толик. Наш водила, двадцать три года, мокрая голова, куртка не по погоде. Он посмотрел сначала на Марка, потом на меня — в таком порядке, и я это отметил: так смотрят на того, кто может сделать больно, а потом на того, кто может не дать. Он заговорил слишком быстро:

— Я не знал, что они поменяют маршрут...

— Я знаю, — сказал Марк. И мягко, почти ласково, положил ему руку на плечо: — Да успокойся ты.

Толик выдохнул. Кивнул. Ему стало легче.

Мне — нет. Я знаю эту руку на плече. Я видел, что бывает потом с людьми, которых Марк успокаивал.

— Не трогай его, — сказал я тихо, когда Толик отошёл к машине.

Марк медленно перевёл на меня глаза. Улыбнулся.

— А я что?

— Я тебя знаю.

Он посмотрел на меня с настоящим, живым интересом — как смотрят на собаку, которая вдруг заговорила, — и ничего не ответил. Взялся за щеколду.

— Сейчас узнаешь.

Внутри было тесно и тепло от одной лампы. Бетон, стеллажи, металлический стол. На столе — коробки. Маленькие, чёрные, с ладонь, кожа и матовый металл, без единой надписи. Штук пять. Такие не возят в машинах. Такие носят во внутреннем кармане, застёгнутом на пуговицу.

Марк подошёл к столу первым. Взял одну. Перед тем как открыть, посмотрел не на коробку — на меня. Ему было интереснее моё лицо, чем то, что внутри.

Открыл.

Пусто. Чёрный бархат с выемкой под что-то круглое, и ничего в выемке. Я увидел это на полсекунды, он закрыл — щёлк, — и поставил на место, аккуратно, как ставят то, что дорого.

— Одних не хватает.

Часы. До меня дошло медленно, по частям: коробки, выемка, круглое, «мой груз». Часы. Такие, которые стоят как машина, а весят как ключи. Их не перевозят — их проносят. В чём-то, что никто не досматривает, потому что и так всё честно. В чём-то, что ездит через границу с моей улыбкой на лице.

— Это было в моих машинах?

— Было.

Одно слово, без единого грамма вины. Так я сам сказал «хорошо» час назад — тем же весом, только с другой стороны стола.

— Без моего ведома?!

Я не ору. Я это уже говорил и повторяю: не ору. В ту ночь я заорал. Голос ударился в бетон и вернулся, и Толик у двери вжался в стену.

А Марк — засмеялся.

Коротко. По-настоящему. Как будто я сказал что-то смешное про погоду. Одну секунду он был почти тёплым, почти моим Марком, с которым мы три года делили дорогу и деньги, — и потом это выключилось. Не сошло — выключилось. Рот стал ровный, глаза встали.

— Какая теперь разница?

Спокойно. Даже разумно. Как объясняют ребёнку, что дважды два.

Вот тут я понял главное. Не то, что он возил. Не то, что за моей спиной. А то, что ему в голову не приходило спросить. Моё разрешение для него не было пунктом. Три года я думал, что мы партнёры, а он думал, что я — транспорт.

— Ты охуел?

Вылетело само. Я сделал шаг — быстрый, — и он не отступил. Наоборот — засмеялся снова, и в этот раз почти с нежностью:

— Вот теперь узнаю тебя.

И пошёл на меня. Медленно. Он выше меня на полголовы, всегда был, и никогда этим не пользовался — до этой ночи. Он подошёл на полшага ближе, чем можно, и встал. Ждал, что я отступлю.

Я не отступил. Я стоял и смотрел на него снизу вверх, и мне было всё равно, кто выше.
— Больше никогда не суй свой груз в мои машины.

Улыбка ушла. Совсем. Я первый раз за вечер увидел его без неё — и это был кто-то, кого я знал хуже, чем думал.

— Поздно, — сказал он. Тихо. — Теперь это уже наши проблемы.

Не вопрос. Не предложение. Он это уже решил — за нас обоих, — и сейчас просто сообщал, как сообщают адрес.

Я сделал полшага к нему. Не назад — к нему.

— Нет. Твои.

Он не ответил сразу. Первый раз за три года у Марка не было готового ответа, и я это запомнил, как запоминают номер машины, которая тебя чуть не сбила.

— Сам разбирайся.

Я развернулся и пошёл к воротам. Не быстро. Так уходят, когда всё сказали. Спиной я чувствовал, что он смотрит, и что у него в углу рта опять что-то появляется — то самое, «ты правда думаешь, что можешь уйти».

— Рэм!

Толик. Сзади, от двери в дальний ангар. Я не остановился.

— Рэм, я не брал.

— Что?

— Я ничего не брал. — И потом, тише, как будто это важнее: — Машина была открыта. Я встал.

Не остановился — встал. Злость на Марка кончилась в одну секунду, как кончается вода в кране, и на её место пришло другое — холодное, быстрое, считающее. Открыта. Замок целый — открыта. Кто-то знал, что внутри. Кто-то знал, где.

— Какая?

— Вторая.

И Марк дёрнулся.

Не лицом — рукой. Пальцы сжались и разжались один раз. Кто угодно не заметил бы. Я заметил — потому что этому меня научила девушка на набережной, которая поймала мою секунду и спросила: «А ты что подумал?» Теперь я ловил чужие.

Он знал, что вторая. Знал до того, как Толик сказал. И «проблема» была не в том, что часы пропали. А в том, что пропали именно эти.

Мы посмотрели друг на друга через весь ангар. Он — на меня. Я — на его руку. Он увидел, куда я смотрю.

Никто ничего не сказал.

Разъехались в три. Марк молча, на своей. Толик остался при машинах — я его не отпустил, потому что не знал ещё, отпускать ли, и потому что «не трогай его» работает, только пока я рядом.

Я сидел в своей и не заводил. Второй раз за месяц.

Думал про коробки — потому что надо было. Пять маленьких коробок на металлическом столе, и в одной пусто. Сколько раз я вёз их через границу, не зная? Сколько раз улыбался таможеннику и был уверен, что улыбаюсь честно? Три года честной улыбки — а на самом деле три года я был просто хорошей обшивкой.

Потом думал про Марка. Про его руку, которая дёрнулась, и про кольцо на ней — серебро, чёрнёное, как старое, с тем же знаком, что на моей зажигалке. Он мне её дал тогда же, когда надел кольцо. «Нельзя терять». Я и не терял. Пять лет носил, как носят чужую фамилию.

А сейчас она лежала во внутреннем кармане у девочки, которая закрыла глаза посреди улицы и ждала, что я её поцелую. И соврала мне через минуту после этого. И я не мог разобрать, что из двух было настоящим, — а потом понял, что оба, и от этого стало ещё хуже.

Я сидел в машине под дождём, с промокшими плечами, и уже думал не про часы.

Я подумал, что не хочу, чтобы эти две вещи — его кольцо и моя зажигалка — когда-нибудь оказались в одной комнате.

Глава 10

Потом отдам

Либерти

Данил проводил меня до парадной и ни разу не спросил, кого я держала за рукав. Это было в нём лучшее — он не спрашивал. Он рассказывал про группу, про то, что бас у них лишний, про зачёт, и я кивала, и мы дошли, и он сказал «ну, пока», и я сказала «пока», и он ушёл, и я поняла, что не запомнила ничего из того, что он говорил, кроме «ну, пока». Хороший человек. Это всё.

Спать я не стала. Легла, посмотрела в потолок, встала. Окно в полстены, за ним двор, в котором в четыре утра уже светлело, потому что белые ночи не кончаются в один день — они уходят медленно, как гости, которые всё стоят в прихожей.

Куртка висела на стуле. Пятый день.

Я подошла и понюхала. Специально, как дура, уткнулась в воротник. Горькое. То самое. Значит, не куртка — он. Значит, я пять дней жила с ним на стуле.

Вот тогда я решила отвезти.

Не потому что «потом отдашь». А потому что вчера я сказала «зажигалку забыл», и он сказал «хорошо», и уехал, и «хорошо» висело в воздухе, как невыполненный заказ. Я не умею с невыполненными. Я их закрываю.

Номер у меня был. Шесть заказов — шесть раз кнопка «позвонить клиенту», и все шесть я не нажала, а номер приложение показывает целиком, и я его запомнила без усилия, как запоминаю адреса. Это не подвиг. Это профессиональное.

В половине восьмого я написала: «Еду. Куртку везу». Без «привет». Без смайлика. Как пишут клиенту, когда курьер уже в пути и ему всё равно, готов клиент или нет.

Он не ответил. Я и не ждала. Прочитал — я видела, что прочитал, — и всё.

Адрес я не искала. Он был у меня в голове, как все адреса, — дом, подъезд, тот самый этаж без цифры. Я знала его лучше, чем адрес Данила, у которого не была ни разу, и это тоже что-то значило, но я не стала разбираться что.

Куртка в куб не влезла. Я сложила её втрое, впихнула, и рукав всё равно торчал из-под крышки, чёрный, как будто рюкзак кого-то съел и не дожевал. Так и поехала. Утро, воскресенье, город пустой, светлый, промытый ночным дождём до блеска. Первый раз за год я ехала не на заказ. Приложение было закрыто. Никто не платил. Странное чувство — как ехать без тормозов.

Подниматься я не собиралась. Это я решила ещё на мосту. В его прихожую, где лифт открывается сразу в дом, я входила курьером — а сейчас я была не курьер, и входить туда в этом качестве было бы уже что-то значить. Так что я встала у подъезда, рядом с самокатом, вытащила куртку, сложила ещё раз, аккуратнее, и стала ждать, как ждут клиента, который «сейчас спущусь».

Ждала минут семь. Я считала. Двор просыпался: собака, дворник, окно на третьем открылось и закрылось. Я стояла и говорила себе, что если он не выйдет через десять — я повешу куртку на ручку двери и уеду, и это будет честно. На девятой дверь открылась.

Он вышел так, как выходят в обычный день. Чёрная футболка, чёрные джинсы, кроссовки. Чистый, свежий — и с таким лицом, будто ночь у него была не одна, а три. Я это увидела с десяти шагов: тяжёлые веки, медленное моргание, взгляд, который на секунду уходит куда-то вбок и не сразу возвращается.

Он сделал два шага и увидел меня.

И вот что я запомню: как у него что-то ослабло в лице. Не улыбка. Раньше. Как будто он нёс что-то тяжёлое и на секунду поставил. Он не ждал меня — это было видно. Он, кажется, вообще не думал, что я приеду. Глаза пошли: я — куртка — я. И он подошёл.

Я не дала ему спросить.

— Заказа нет. Я куртку привезла.

Легко. По делу. Как будто это самое обычное — привезти человеку его куртку в воскресенье утром, без заказа, зная адрес наизусть.

Он взял. Мы обе руки на ней держали долю секунды — это неизбежно, когда передаёшь одну вещь, — и пальцы прошли рядом, не коснувшись, но я знала, где они. Он взял и не отступил. Стоял с курткой в руке и смотрел на меня, а не на неё.

— А я уже подумал — соскучилась.

Тихо. Сухо. С тем самым углом рта, который у него не дорастает до улыбки. Он это сказал как шутку — потому что честнее было бы опасно, — но на долю секунды после слов у него в глазах было видно, что он правда об этом думал. Приехала, потому что хотела увидеть? Или потому что куртка?

— Не мечтай.

Быстро. Слишком быстро — я сама услышала. И посмотрела на самокат, как будто у самоката вдруг что-то важное случилось с рулём. Он заметил. Уголок стал глубже на миллиметр.

— Адрес откуда?

Настоящее любопытство, чуть подозрительное. Бровь. Он правда не понимал, откуда я знаю, где он живёт.

Я посмотрела на него так, как смотрят на человека, который спрашивает, откуда ты знаешь, что дважды два четыре.

— Ты у меня заказывал шесть раз.

Пауза. Пусть дойдёт.

— Я курьер, а не дура.

И он попался. Выдох через нос, короткий, — и улыбка, настоящая, которую он не успел удержать. Три секунды он был просто парень двадцати трёх лет, которому смешно, — не тот, который «есть что скрывать», не тот, который «на старом складе». Просто парень с курткой в руке во дворе в воскресенье.

Мне это понравилось больше, чем я готова была признать.

А потом я посмотрела внимательнее.

Он, не думая, поднял свободную руку и потёр переносицу — большим и указательным, — и пальцы прошли под глазами, и он выдохнул, и опустил руку, и моргнул медленно, как моргают, когда глаза сами закрываются. Обычный жест. Он его не заметил. Я — да.

— Ты не спал.

Не вопрос. Я так сказала — тихо, как говорят то, что видно.

Он посмотрел на меня удивлённо. Не потому что странно, — потому что я заметила.

— С чего ты взяла?

— По тебе видно.

Я сказала это просто. И глаза у меня сами прошли по его лицу — по векам, по щеке, по тому месту, где он тёр, — на долю секунды дольше, чем надо. Он это поймал. Я видела, как поймал: в усталых глазах что-то зажглось, острое, живое.

— Так плохо выгляжу?

Низко. Легко. С таким подтекстом, что я не сразу нашла, что ответить. Он повернул моё «ты не спал» в «ты меня рассматривала» — и был прав, и знал, что прав.

— Не... нет.

Первое «не» — врасплох. Второе «нет» — уже собранное. Между ними — секунда, в которой я не курьер и не Либерти, а просто девочка, которую поймали. Никаких волос, никаких губ — я не такая. Просто секунда без ответа. Он её увидел и ничего не сказал. И это молчание было хуже любого «попалась».

Я собралась. Это я умею. Вдохнула, посмотрела ему прямо в лицо, и сказала то, зачем на самом деле ехала через весь город с курткой в рюкзаке:

— Рэм... Вчера я вообще-то не про заказ хотела сказать.

«Рэм» вышло с запинкой. Дальше — ровно.

И я смотрела, как у него уходит вчерашнее тепло — не резко, как отлив. На слове «вчера» погасло то, что зажглось на «плохо выгляжу». На «не про заказ» глаза встали. Он всё понял. И что-то внутри у него закрылось — не от меня, я это видела, — от чего-то, что стояло у него за спиной, чего я не знала.

— Да я понял.

Тихо. Ниже, чем раньше. Тепло было где-то там, под этим, — но он ставил между нами что-то, и я ещё не понимала что.

— И?

Одно слово. Я держала его взгляд и не отпускала. «И что ты с этим будешь делать?»

Он молчал. Долго — секунду, две. Смотрел на меня так, будто сейчас скажет совсем другое, — я видела, у него это другое было прямо за глазами, оно почти вышло. Вдох. Ещё секунда.

— Не привыкай ко мне.

Тихо. Почти мягко. Не зло, не сверху. Так говорят не «отвали». Так говорят «не подходи, там опасно» — но я этого тогда не услышала. Я услышала слова.

Что-то во мне встало. Глаза — первыми. Потом дыхание — на полвдоха. Потом губы. Внутри было так, будто мне на ходу выключили свет. Меньше секунды. Я тут же это спрятала — я умею прятать быстро, у меня спина курьера и лицо курьера, — и посмотрела на него ровно.

— Я и не собиралась.

Спокойно. Почти буднично. Я очень хотела, чтобы это прозвучало как правда.

И отвернулась первой. К самокату — как будто разговор окончен, как будто мне пора, у меня смена. Спиной чувствовала, как он стоит с курткой в руке и смотрит. Я взялась за руль.

— Либерти.

Я остановилась. Тело — первым. Потом голова. Медленно. Он смотрел на меня так, будто сейчас скажет то, что не сказал. Пауза. Я ждала. Он передумал — я видела, как передумал.

— Зажигалка.

Одно слово. Сухо.

И рука сама пошла к карману. Я не думала — пальцы уже лежали на ткани, там, где она была всё это время, во внутреннем, рядом с ключами. Я не достала. Но он увидел. У него глаза стали острее — и я поняла, что он понял: я не забыла. Я знала, где она, всё это время. Я её носила.

Мы смотрели друг на друга, и никто не объяснял.

— Потом отдам.

Ровно. Без нажима. Только мы оба слышали, что это значит: не сейчас. Потом. Ещё раз.

Уголок его рта дёрнулся — то, что не дорастает. Я не дала ему больше ничего. Толкнулась и поехала.

За углом остановилась. Дышала. Ничего же не случилось.

Напротив, через дорогу, у тёмной машины стоял мужчина. Чёрная рубашка, рукава до локтя — и я на секунду дёрнулась: он. Догнал. Потом поняла — не он. Другой. Выше, темнее, и стоял не так: Рэм стоит, как будто всё вокруг подождёт, а этот — как будто всё вокруг уже

его. Он говорил по телефону, коротко, и смотрел на меня. Не как смотрят на девушку. Как смотрят на номер машины.

Я отвернулась и поехала дальше. Не быстро. Я не бегу от тех, кто смотрит.

Ещё через квартал я вытащила зажигалку. Повертела. Ромбик в углу, с решёткой внутри, — не то окно, не то печать, — уже стёрся под моим пальцем ещё немного.

Он сказал «не привыкай». Я услышала «уйди». А сейчас, за углом, с зажигалкой в руке, я услышала третье — то, что он сказал на самом деле. «Не привыкай» — так не говорят чужим. Чужим говорят «не звони». «Не привыкай» говорят тем, кто уже — и кому лучше бы не.

И ещё я подумала: у него что-то случилось ночью. На старом складе, с проблемой, от которой не спят и от которой лицо становится таким, будто ночь была не одна. И он не хотел, чтобы это подходило ко мне близко. Поэтому «не привыкай». Не ко мне — к тому, что у него за спиной.

Ладно.

Я убрала зажигалку в карман. Теперь у него не было ничего моего — куртку я вернула. А у меня было его. Нечестно. Я оставила так.

Данил написал «как ты?». Я не ответила.

Кирилл написал «норм». Я ответила «норм».

Потом открыла приложение и включила смену. Воскресенье — хороший день, много заказов, люди не хотят выходить. Я поехала на первый, и всю дорогу думала не про заказ, а про мужчину в пальто, и не понимала почему.

Глава 11

Не привыкай ко мне

Рэм

В пять утра в нашей квартире светло, как днём, и это худшее, что есть в белых ночах: нельзя прийти домой незаметно.

Брат сидел на диване с гитарой. Не сидел — валялся, как он умеет, всей своей массой, одна нога на подлокотнике, гитара поперёк живота, и перебирал что-то тихое, незаконченное, одну и ту же фразу, которую он крутит уже месяц и никак не допишет. Услышал ключ. Пальцы легли на струны. Посмотрел на дверь без тревоги — с тем выражением, с которым смотрят на кота, который наконец пришёл.

— Пять утра.

Сухо. Легко. Без «где ты был». Он никогда не спрашивает, где я был. Это у нас взаимно.

Я прошёл в кухню, положил ключи на столешницу — они стукнули громче, чем надо, — и сказал, не оборачиваясь:

— Спасибо, что сказал.

Он хмыкнул. Коротко, довольно. И на секунду мы были просто два брата в пять утра: один с гитарой, другой мокрый, — и всё было нормально, как было нормально всегда, сколько я себя помню.

Я налил воды. Стоял, пил, держался за столешницу. И спиной чувствовал, что он перестал улыбаться.

Он не сел. Не выпрямился, не отложил гитару — он никогда не делает резких движений, он большой, ему не надо. Просто посмотрел. По-настоящему. Мокрая рубашка, серое лицо, то, как я держусь за столешницу, как будто она может уехать. Я знаю, что он увидел, потому что знаю, что бы увидел сам.

Молчал. Потом — тихо, коротко, без вопроса в голосе:

— Марк?

Я не ответил. Не обернулся сразу. Потом обернулся — и посмотрел на него, и он на меня, и этого хватило. Я никогда не умел врать брату. Это единственный человек, с которым мой номер не проходит: у него те же глаза, что у меня, только орехового цвета, и они видят то же самое.

Он отложил гитару. Аккуратно, к стене. Это было хуже, чем если бы бросил.

— Ты обещал, что после лета выйдешь.

Спокойно. Не упрёк — напоминание. Он произнёс это так, как произносят то, что решили не говорить и всё-таки сказали.

— Выйду.

— Рэм.

— Выйду. После лета.

Он смотрел на меня ещё секунду. Потом кивнул — не поверил, но кивнул, потому что в пять утра больше ничего не сделаешь, — и лёг обратно на диван, и через минуту снова перебирал ту же незаконченную фразу, только тише. Я стоял на кухне и слушал. Он не дописал её и в ту ночь.

Я не спал. Лёг, полежал час с открытыми глазами, встал, пошёл в душ. Смысл склад — с плеч, с шеи, с рук, где ещё было ощущение содранной обшивки. Переделся. Футболка, джинсы. Обычный день. Я умею делать обычный день из любого материала.

В половине восьмого дёрнулся телефон — тот, что для жизни. «Еду. Куртку везу».

Без имени. Она не подписалась, потому что знала, что я пойму. И я стоял с телефоном и понимал: у неё есть мой номер. Шесть заказов — шесть раз «позвонить клиенту». Конечно, есть. Я об этом не думал ни разу, а она, оказывается, знала его наизусть.

Я не ответил. Не потому что не хотел. Потому что между нами было вчера — рукав, закрытые глаза, «заказ забыл оплатить», «хорошо», Костя, — и я не знал, как с ней разговаривать после всего этого. Решил, что узнаю, когда увижу.

Вышел через десять минут — и увидел.

Она стояла у подъезда с самокатом, с курткой, сложенной аккуратно, как складывают чужое. Не поднялась. Не позвонила в дверь. Ждала внизу, во дворе, как ждут клиента, — и это было правильно, и это меня ударило: она не полезла в мой дом. Она поставила себя ровно там, где мы оба могли стоять.

Я подошёл. Дальше она рассказала бы лучше — что я сказал, что она, как я попался на «курьер, а не дура» и три секунды был просто человеком во дворе. Я помню другое.

Я помню, что она заметила. Не куртку, не то, что я вышел, — она заметила, что я не спал. По лицу. Мне никто никогда не говорил «ты не спал». Меня не рассматривают так близко, я этого не позволяю, — а она стояла и читала меня, как читают адрес на пакете, и не стеснялась. И я спросил «так плохо выгляжу?» только затем, чтобы она смутилась. Она смутилась. На секунду. «Не... нет». И я поймал эту секунду, как ловят мяч, и держал её у себя — и это было лучшее, что случилось за сутки.

А потом она сказала: «Вчера я вообще-то не про заказ хотела сказать».

И я почувствовал, как за спиной у меня встаёт всё, что было ночью. Марк, «поздно», пустая ниша, «теперь это твои проблемы», кольцо на руке, которая дёрнулась. Оно встало за мной, как встают люди, которые пришли не за тобой, а за тем, кто рядом с тобой. И я посмотрел на неё — на её открытое лицо, на то, как она ждала, что я скажу «я тоже», — и подумал: если я скажу «я тоже», ты войдёшь. В это. В ангар с одной лампой. К человеку, у которого на кольце тот же знак, что на зажигалке у тебя в кармане.

— Да я понял.

— И?

Секунда. Две. Я видел, как ей нужно, чтобы я сказал. Я видел, как мне нужно сказать. Всё, что я хотел, стояло у меня за зубами и было готово.

— Не привыкай ко мне.

Я это сказал ей. Но говорил — тому, что стояло за спиной: не тронь. Она не с нами. Не привыкай к ней.

Она услышала слова. Я видел, как её ударило — глаза, дыхание, губы, меньше секунды, — и как она это спрятала, быстро, профессионально, у неё это отработано не хуже, чем у меня. «Я и не собиралась». Спокойно. Она очень хотела, чтобы это звучало как правда, и я сделал вид, что поверил. Мы оба в то утро хорошо врали.

Она отвернулась. Взялась за руль.

И я понял, что перестарался. Я хотел расстояние — я его получил, вот оно, уезжает, — и оно мне не понравилось. Совсем. У меня внутри что-то сжалось, как сжимается рука, когда из неё вынимают то, за что ты держался, не замечая.

— Либерти.

Она остановилась. Телом — а потом уже головой, медленно, и лицо у неё было уже закрытое, ровное, чужое. Я собирался сказать что-то другое. Что-то настоящее. Я держал её взгляд и знал, что если скажу — то отменю «не привыкай», и она войдёт, и всё, что стоит у меня за спиной, увидит её.

— Зажигалка.

И её рука пошла к карману. Сама. Она не думала — пальцы уже лежали на ткани, там, где она была всё время. Не забыла. Носила. Знала, где.

И у меня внутри — не смех, нет, — но то, что бывает вместо смеха, когда понимаешь, что не всё потеряно. Она помнила. Значит, это не кончилось. Значит, есть нитка.

— Потом отдам.

Ровно. Обычно. И мы оба знали, что это значит.

Она уехала. Я стоял с курткой в руке во дворе, в воскресенье утром, и смотрел ей вслед, и уголок рта у меня дёрнулся сам — потому что она оставила нитку. Специально. Я это понял, и она поняла, что я понял, и уехала, не дав мне ничего больше.

Правильно. Больше и не надо было.

Вечером я пришёл домой и не включил свет.

Брат был на репетиции. Квартира стояла большая и пустая, как всегда, — камень, дерево, окно во всю стену с синим городом за ним, — и я бросил ключи на камень, и они стукнули, и это был единственный звук.

Куртку я нёс в руке весь день. В машину, из машины, на склад — на наш, светлый, где я делал вид, что работаю, — и обратно. Не надевал. Просто носил, как носят то, что не знаешь, куда деть.

Бросил её на кровать, не глядя. Повернулся уйти — и остановился.

Не сразу. Секундой позже — так, как останавливаешься, когда тебя что-то догнало со спины. Я стоял в дверях спальни и смотрел на куртку на серых простынях, в полосе холодного света из окна, — и не понимал, что со мной. Рука пошла к затылку. Опустилась. Пальцы сжались и разжались. Я решаю всё. Я не мог решить, что делать с курткой.

Сел на край кровати. Взял её за воротник — и не поднёс к лицу, я не в кино, — просто держал ближе, чем надо. И вдохнул. Один раз, медленно, носом.

Она пахла ею.

Не духами — у неё их нет. Чем-то простым: улицей, ветром, тем, чем пахнут волосы, когда их не сушат феном. Пять дней куртка висела у неё на стуле, и за пять дней я успел из неё выветриться, а она — впитаться. Так, наверное, и бывает. Всё по-честному: то, что дольше рядом, — то и остаётся.

Я сидел с закрытыми глазами и дышал её курткой, и это было самое честное, что я сделал за неделю.

Потом открыл глаза. Большой палец прошёл по воротнику — там, где я тогда вытащил её прядь, — один раз. И я поймал себя. Выдохнул носом, почти со смехом, над собой: двадцать три года, мужик, сидит в темноте и нюхает куртку. Это же надо.

Но не повесил.

Положил её на вторую подушку — на ту половину кровати, где свет. Разгладил ладонью, один раз. И лёг рядом, на свою половину, в тени, одетый, рука за головой, глаза в потолок.

Двое в одной кровати: я и куртка. Я — в темноте, она — на свету. Расстояние между нами — ровно то, которое я сам поставил утром.

Не привыкай ко мне.

Я лежал и понимал, что уже поздно. Что «не привыкай» я сказал не ей — себе, и опоздал дней на двадцать.

И на этой мысли меня выключило. Не уснул — упал. Двое суток без сна взяли своё сразу, целиком, как берут долг: я не помню, как закрылись глаза.

Глава 12

Полегчало?

Рэм

Проснулся я в темноте. Настоящей — за окном уже не синий вечер, а ночь, чёрная, с фонарями, часа два. Я проспал полдня, и телефон — оба — молчали, и это было так непривычно, что я секунду лежал и не понимал, где я.

Потом понял. Куртка лежала на подушке рядом, там, где я её оставил. Свет из окна ушёл с неё — теперь мы оба были в темноте.

Я встал, оделся. Не включил свет — зачем. Подошёл к окну и стоял. Город внизу, огни, Нева где-то за крышами, одно светящееся окно напротив, где тоже кто-то не спал. Я стоял, упершись пальцами в подоконник, и не думал ни о чём — так, как не думают, когда думать уже нечем. Большой палец двинулся по подоконнику один раз и остановился.

Телефон лежал экраном вниз. Я его не трогал.

Есть такое время ночи, когда всё, что ты отложил на «потом», приходит и садится рядом. Брат со своим «после лета». Марк со своим «поздно». Пустая ниша. И она — с рукой на кармане, где моя зажигалка, и с лицом, которое я сам же и закрыл одной фразой. Они сидели у меня за спиной все вместе, и я стоял к ним спиной и смотрел на город, потому что повернуться — значило выбирать, с кого начать.

Я не выбирал. Я стоял. Это единственное, что я умел в ту ночь.

Дверь я слышал раньше, чем шаги. Ключи. Свои. У Ники есть мои ключи с тех пор, как ей было двенадцать, а мне десять, и она вытащила меня из-под льда на Карповке и потом две недели ходила проверять, что я жив. С тех пор она ходит проверять.

Я не обернулся. Глаза пошли на звук — голова чуть за ними, — и всё. Слушал, как она идёт через квартиру: бордовая кожа скрипнула, ботинки по дереву, — и остановилась в дверях спальни. Я знал, что она видит: меня у окна в темноте, куртку на подушке за моей спиной. И что она поняла всё за секунду, потому что Ника всё понимает за секунду и никогда не говорит, что поняла.

— Ты долго ещё будешь киснуть?

— Я не кисну.

Ровно. В стекло. Я даже не повернул головы.

Она помолчала. Я слышал, как она смотрит на куртку. Потом — на меня. Потом:

— Ага. Одевайся.

И ушла в прихожую, не дожидаясь. Ника не ждёт. Она делает шаг, и ты либо идёшь, либо остаёшься объяснять пустому дверному проёму, почему нет.

— Куда?

Из прихожей, уже с порога:

— За мной.

Я постоял ещё три секунды. Посмотрел на куртку на подушке. Выдохнул. Схватил другую с вешалки и пошёл, потому что с Никой так: или идёшь, или потом хуже.

Внизу у подъезда стоял серебристый AMG. Мой. С нашей площадки, с той, светлой, где всё честно. Она его пригнала сама — не спросив, конечно, — и уже сидела за рулём, и смотрела на меня через стекло, как смотрят на человека, который слишком долго ищет ключи.

Я сел справа. Это само по себе было событие: я не сажу справа. Никогда. Но с Никой я был справа с двенадцати лет, и тело помнило.

Она вела хорошо. Лучше, чем я в ту ночь смог бы. Я смотрел в окно, и мне было всё равно, куда. Фонари шли по лицу: тёплый — темно — холодный — темно. Ника молчала. Один раз глянула на меня — я поймал краем глаза — и усмехнулась, и ничего не сказала. Она ждала, когда я сам.

Я не сам.

— Мы где? — спросил я, когда дома кончились и пошли склады, вода, пустая парковка под фонарями.

Она не ответила. Только уголок рта. Поворотник. Встала, заглушила, вышла — сразу, не дожидаясь.

Я посидел ещё секунду. Потом вышел.

За бетонной опорой, под единственным фонарём, стоял бордовый BMW. Тоже наш. Она и его сюда пригнала — значит, была здесь днём, с кем-то, значит, готовила это, пока я спал. Ника не делает ничего спонтанно. Она только выглядит так.

Она шла к бордовому, не оглядываясь, длинные рыжие волосы, бордовая кожа, ботинки по асфальту, — и у меня, впервые за сутки, что-то включилось. Как двигатель на морозе: не сразу, с третьего раза, но включилось.

Она сунула руку в карман, достала ключи от серебристого и, не останавливаясь, кинула мне через плечо.

— Лови.

Поймал одной рукой. Ключи легли в ладонь, пальцы закрылись.

— Ты серьёзно?

— Ну а что?

Она уже открывала дверь бордового. Смотрела на меня поверх неё — без позы, просто с наглой уверенностью человека, который знает, что прав.

Я посмотрел на серебристый. И у меня дёрнулся угол рта — не улыбка, только первая трещина в том, что я носил с пяти утра.

Дальше — без слов, потому что слова там не нужны.

Она ушла первой. Я — за ней. Город ночью, сухой асфальт, пустые полосы, фонари в лобовом. Сначала я просто ехал. Потом увидел в зеркале её глаза — она смотрела на меня в своём зеркале и улыбалась, — и она прибавила, и я понял, что это вызов, и что она специально, и что она всегда специально.

И прибавил.

Тоннель. Лампы по крыше — раз, раз, раз, — бордовый бок рядом, серебристый нос впереди, её рука на руле, моя. Она глянула через стекло — на долю секунды, — и я поймал, и усмехнулся, и смотрел вперёд. Один взгляд. Больше и не надо. Мы пятнадцать лет так разговариваем.

Я вышел вперёд. Она — за мной, и я знал, что смеётся.

И тут дорога кончилась.

Не дорога — полоса. Ограждение, мигалки, оранжевое, прямо перед капотом, — ремонт, которого вчера не было. Одна секунда, в которой не было ни Ники, ни Марка, ни куртки на подушке, — только руль, и полоса слева, свободная, и надо в неё, и мы оба — в неё, синхронно, как один человек, — и ограждение промелькнуло справа так близко, что мигалка ударила в стекло, — и всё.

Всё. Чистая дорога.

Я выдохнул. Посмотрел вправо. Она — на меня, глаза ещё круглые. Мы посмотрели друг на друга сквозь два стекла: живы.

И она засмеялась. Просто так, от адреналина, всем лицом.

И я — тоже. Не хотел. Полсекунды держался — и не удержался. Заржал, как не ржал год, наверное, и плечи отпустило, и что-то в груди, что было сжато с пяти утра, разжалось.

Она ушла вперёд снова. Я — за ней. Конечно, за ней.

Встали на парковке у воды. Двигатели тикали, остывая. Мы вышли, сделали по три шага навстречу и остановились между машинами. У неё волосы были в беспорядке, у меня — дыхание.

Она смотрела на меня, страшно довольная собой.

— Ну как? Полегчало?

Я попытался не улыбаться. Держал секунду.

— Нет.

И лицо меня сдало полностью. Она засмеялась — коротко, зная, что я вру, — и уже разворачивалась к своей машине.

— Тогда давай ещё раз.

Мы сели. Ремни. Двери. Бордовый ушёл первым, я — за ним, и парковка осталась сзади, и дорога впереди была пустая, длинная, ночная.

Я ехал за ней и думал не про склад. Не про Марка. Не про кольцо.

Я думал про то, что дома на подушке лежит куртка, которая пахнет девочкой с зажигалкой в кармане, и что я сказал ей «не привыкай», а сам уже привык, и что Ника это поняла с порога, и вытащила меня, как тогда из-под льда, — за шиворот, не спрашивая.

И что завтра надо что-то с этим делать.

Не с курткой. Со всем.

Глава 13

Врёшь

Либерти

«Не привыкай ко мне» — это три слова, и я посчитала: за воскресенье они проиграли у меня в голове сто сорок раз. Я знаю точно, потому что после пятидесяти начала считать специально, чтобы хоть чем-то занять ту часть головы, которая их крутила.

Работа — лучшее, что придумали для людей, которым нельзя думать. Заказ, адрес, лифт, дверь, «спасибо», следующий. К вечеру у меня было двадцать два заказа и ноль мыслей, и это был хороший результат. Единственное, что я не смогла выключить, — светофоры. На красном думать не запретишь. На каждом красном они возвращались: «не привыкай». Я насчитала тридцать один красный. Питер — город, где слишком много светофоров для человека, которому сказали такое.

В понедельник было легче. В понедельник я уже знала, что делать с этими тремя словами: положить в тот же карман, где «есть что скрывать» и второй телефон. Карман был большой. Я курьер, у меня много карманов.

К Кириллу я поехала после смены, с продуктами. Понедельник — день продуктов, это у нас правило: я привожу на неделю, он делает вид, что ему хватило бы и без меня, я делаю вид, что верю.

Дверь открылась раньше, чем я позвонила. Он стоял на пороге в моей толстовке — той, которую я оставила ему в четверг, — и она сидела на нём уже не так плохо, как в четверг. Или он вырос за четыре дня. С ним это бывает.

— Ты чего в ней?

— Тепло.

— На улице двадцать пять.

— Дома пятнадцать.

Дома было не пятнадцать. Дома было нормально. Он просто её носил, и я не стала об этом говорить, потому что у нас не говорят про такое. У нас говорят про продукты.

Я разложила: макароны, гречка, курица, яйца, хлеб, то, что не портится, и одно, что портится, — персики, потому что август и потому что он их любит, а сам никогда не купит. Он стоял и смотрел, как я раскладываю, и не помогал, и это тоже было правильно: помогать — значит признать, что нужно.

— Ты ел?

— Ел.

— Что?

— Разное.

И я застыла с пачкой гречки в руке, потому что услышала. «Разное». Так Рэм сказал про салфетки. Я стояла у чужого холодильника и на секунду была в другой прихожей, с камнем и деревом, и он стоял в дверях довольный, что я смеюсь. Потом вернулась.

— Кир.

— Яичницу. Два раза. И бутерброды.

— Три дня?

— Четыре.

Я поставила гречку. Достала курицу, нож, доску. Он сел на подоконник — своё место — и смотрел, как я режу. Кухня была та же, что всегда: клеёнка, чайник, календарь за прошлый

год, который никто не снял, потому что снять — это признать, что год прошёл. За окном — двор, в котором мы оба выросли и из которого я уехала первой.

Резала и думала: вот это — моё. Не набережная, не рукав, не «не привыкай». Это. Мальчик на подоконнике в моей толстовке, четыре дня яичницы, календарь. Я здесь на месте. Я знаю, что делать. Здесь никто не говорит слов, от которых выключают свет.

— Стас говорил, что подработку может найти, — сказал Кирилл в спину. Небрежно. Так говорят то, что репетировали.

— Какой Стас?

— Ну, с сервиса. Ты его видела. Высокий, с серьгой.

Я видела. Один раз, зимой, во дворе: восемнадцать, курит, смотрит на Кирилла так, как старшие смотрят на младших, которых можно взять с собой. Мне тогда не понравилось, как он смотрит. Но я не сказала, потому что Кириллу было пятнадцать, и любой, кто старше и обращает на него внимание, был для него подарком.

— Какую подработку?

— Не знаю пока. Машины помыть, пригнать что-то. Он сказал, нормальные деньги.

— Тебе шестнадцать.

— И что?

И то. Я знала, что «и то», но не знала, как это сказать, чтобы он услышал не «мне нельзя», а «я боюсь». Он бы не услышал. Он бы услышал «нельзя», и завтра пошёл бы туда, куда «нельзя», потому что у него лицо от меня и характер тоже.

— Посмотрим, — сказала я. Это худшее слово в русском языке, и я его сказала.

Курица зашипела. Он замолчал. Я решила, что ещё вернусь к этому, — и это второе худшее, что я сделала в тот вечер.

Мы ели. Он — так, как едят, когда четыре дня яичницы: быстро, молча, не поднимая головы. Я — глядя на него. Он это заметил, поднял глаза, и я сделала вид, что смотрю в окно.

Деньги я положила под сахарницу. Восемь тысяч — всё, что было сверх аренды. Он видел, что я кладу, и смотрел в тарелку, и я видела, что он видел. У нас так: я кладу, он не замечает, потом замечает. Никто ничего не говорит. Это не гордость. Это способ не считать вслух.

Телефон лежал рядом с моей тарелкой, экраном вверх. Я всегда кладу экраном вверх — курьер должен видеть, кто звонит, сразу, без переворота. Профессиональное.

Он дёрнулся.

Не звонок — сообщение. Я увидела имя раньше, чем текст, и перевернула телефон экраном вниз. Быстро. Не думая. Рука сделала это сама, и только когда телефон уже лежал лицом в клеёнку, я поняла, что сделала — и чей это был жест.

Его. Так он положил телефон на капот в тот первый день. Экраном вниз, не глядя. Я тогда это отметила и не поняла. Теперь понимала: так делают люди, у которых есть что-то, чего нельзя показывать тем, кто рядом.

У меня появилось такое.

— Кто это? — спросил Кирилл.

— Никто.

Он посмотрел на меня. Долго. С таким выражением, какое бывает у меня, когда он говорит «норм».

— Врёшь.

Не вопрос. Так он сказал — спокойно, с полным ртом, как говорят факт.

— Ешь.

— У тебя лицо такое же, как у меня, когда я вру. Я знаю, я в зеркало смотрел.

Я не ответила. Он не спросил ещё раз. У нас так: один раз «врешь», и хватит, дальше — дело того, кто врёт. Но он больше не опускал глаза в тарелку. Он смотрел на мой телефон, лежащий лицом вниз, и я видела, как он думает, и не могла остановить.

Под телефоном, лицом в клеёнку, лежало: «Рэм. Я не то сказал».

Четыре слова. Первое сообщение от него за всё время — не заказ, не «постой», не «зажигалка». «Я не то сказал». Я прочитала это за полсекунды до того, как перевернула, и теперь оно лежало под моей ладонью, тёплое, как зажигалка в кармане, и я не знала, что с ним делать.

Не ответила. Не потому что обиделась — обиду я уже отработала на светофорах. Потому что «не то сказал» — это не «сказал то». Это признание, что было не то, и ноль про то, что было бы «то». Я не отвечаю на половину. Курьер закрывает заказ целиком или не закрывает вообще.

И ещё: Кирилл смотрел. При нём я не хотела ничего писать человеку, про которого сказала «никто».

Мыли посуду вместе — он мыл, я вытирала, это единственное, в чём он мне помогает без просьбы, — и он вдруг сказал, глядя в раковину:

— Оль. Ты только не злись.

Я замерла с тарелкой. Так начинаются все плохие разговоры в моей жизни. «Ты только не злись» — это как «сдачи не надо»: значит, сейчас будет то, что стоит дороже.

— Что?

— Ничего. Просто. Если что — ты не злись сразу. Ладно?

— Кир.

— Ничего же не случилось.

Я смотрела на его затылок. На плечи в моей толстовке. На руки в мыльной воде — костяшки давно зажили, только на одной остался белый след, как царапина на чёрном.

— Ладно, — сказала я. Потому что «ладно» — это не «да». Это «я запомнила».

В прихожей я надевала рюкзак, а он стоял в дверях кухни и смотрел. Его телефон был у него в руке — экраном вверх, потому что он ещё не научился по-другому.

Телефон дёрнулся. Я увидела через плечо — не текст, только имя, крупно, как всегда: «Стас».

И Кирилл перевернул его.

Экраном вниз. Быстро. Не глядя. Тем же движением, которым я перевернула свой час назад за столом.

Мы посмотрели друг на друга.

— Кто это? — спросила я.

— Никто.

Пауза. Он держал телефон лицом вниз, прижав к бедру, и лицо у него было моё — то самое, из зеркала.

— Врёшь, — сказала я.

Он не ответил. Я не спросила ещё раз. Один раз «врёшь», и хватит, — это правило, и оно работает в обе стороны, и я сама его завела.

— Оль, а ты когда домой?

Он это спросил, чтобы сменить тему, — и попал в единственное место, где у меня нет защиты.

— Я и так дома. Просто у меня другой адрес.

Я это уже говорила — в тот вечер после опорного, когда мы первый раз поняли, что теперь это мы вдвоём. Тогда это была правда. Сейчас — почти. Мой другой адрес был на Петроградской, а не там, где я про него думала.

Он кивнул. Я вышла. Дверь закрылась, и я стояла на лестнице, которая пахнет, как в детстве, и не спускалась.

Стас. Восемнадцать, серьга, сервис, «нормальные деньги». «Ты только не злись». Телефон лицом вниз.

Я собрала это в голове, как собираю маршрут: адрес, адрес, адрес — и видела, что они складываются в одну линию, и линия мне не нравилась. И сказала себе то, что говорю каждый

раз, когда линия не нравится, а сил на неё нет: завтра. Завтра спрошу. Завтра позвоню этому Стасу. Завтра.

Спустилась. Отстегнула самокат. Перевернула свой телефон — «Я не то сказал» — и не ответила снова.

Ехала домой и думала, что у нас с Кириллом одинаковые лица, когда мы врём, и одинаковые руки, когда переворачиваем телефон, и что я, кажется, единственная, кто это видит, — и всё равно ничего не делаю.

Я запомнила имя. Стас. Как запоминаю адреса — без усилия, на всякий случай.

Это был первый раз, когда я запомнила правильно и ничего не сделала. Я тогда не знала, что он первый. Я думала, у меня есть завтра.

Глава 14

Чужая

Либерти

Во вторник я не позвонила Стасу.

Утром у меня было «сейчас», в обед — «после смены», к вечеру — «завтра, спокойно, при Кирилле». Так и уходит всё важное: не отказом, а переносом. Я это знаю про себя и всё равно делаю. Кирилл написал в два часа «норм», я ответила «норм», и мы оба соврали одним словом, как умеем.

Рэму я тоже не ответила. «Я не то сказал» так и лежало в телефоне непрочитанным для него — я знаю, что он видит галочки, — и я ловила себя на том, что открываю и закрываю, открываю и закрываю. Как дверь, за которой кто-то стоит. Не отвечать оказалось тяжелее, чем ответить, и от этого я не отвечала ещё прямее.

Заказ упал в восемь вечера. Набережная у порта, к машине, оплачено. Имя клиента: «М.»

Одна буква. Я хмыкнула — люди, которые ставят одну букву, обычно либо очень заняты, либо очень хотят, чтобы про них спросили. Взяла. Вторник, восемь, до конца смены ещё три заказа, и мне было всё равно, какая буква.

Порт — это не набережная в центре, где туристы и вода блестит. Это край. Краны, контейнеры, вода тяжёлая, тёмная, пахнет железом и мазутом, ветер такой, что сразу понимаешь: юбка сегодня была ошибкой. Я туда возила два раза за год, и оба раза это были дальнбойщики.

Машина стояла у самого парапета. Тёмная. Дорогая. Я уже видела эту машину — вчера, через дорогу от чужого подъезда.

И на капоте, полулёжа, как на диване, сидел он.

Чёрная рубашка, рукава до локтя. Высокий — это было видно даже сидя. Тёмные волосы, тёмные глаза, лицо из тех, что нравятся женщинам с первого взгляда и не нравятся мне со второго. Он смотрел на воду и, кажется, был совершенно доволен собой, вечером и портом.

На лавке рядом с машиной стоял пакет. Наш, с логотипом, нетронутый. Кто-то уже привозил ему заказ. До меня. И он его не открыл.

У меня внутри стало тихо. Так бывает, когда заходишь в подъезд и понимаешь, что лампочку выкрутили не вчера.

Я слезла с самоката метрах в пяти. Не ближе. Достала пакет.

— Это вам?

— Мне.

Он ответил не сразу — сначала повернул голову, медленно, как будто у него было всё время мира, — и посмотрел. Не как Рэм. Рэм смотрел так, будто я — то, что он ждал. Этот смотрел так, будто я — то, что он заказал. Разница небольшая, а я её слышу за пять метров.

Он слез с капота. Подошёл. И встал слишком близко — на полшага ближе, чем стоят с курьером. Не грубо, не нагло, просто — на полшага. Как будто расстояние для него было не правилом, а мнением.

Я не отступила. Ветер с воды дёрнул юбку, и я прижала её ладонью к бедру и одёрнула серый лонг ниже, до самых пальцев, — не потому что холодно. Потому что под таким взглядом хочется, чтобы на тебе было больше ткани. Он это увидел. Уголок у него дрогнул, и я поняла, что он понял, что это значит, и что ему это не помешало, а понравилось.

Тогда я поставила между нами самокат. Просто подкатила его на полшага вперёд, как ставят стул. Спокойно. Это тоже профессиональное: у курьера всегда есть, что поставить между собой и клиентом.

— Быстро вы, — сказал он. Голос низкий, тёплый, с улыбкой внутри.

— Как обычно.

Я протянула пакет. Он взял — и не посмотрел на него. Держал в руке, как держат вещь, которая не нужна, и смотрел на меня.

— Огоньку не будет? Свою где-то посеял.

Он уже держал сигарету. Достал её из нагрудного кармана одним движением, пока говорил, — и я поняла, что вопрос был готов до того, как я подъехала.

Я могла сказать «нет». У курьера нет зажигалки — я не курю, это правда, все это знают. Но рука уже открывала куб. Жёлтый, за спиной, на ощупь, — внутренний карман на молнии, где ключи и где шесть дней лежала она. Пальцы нашли металл сразу, не ища. Я держала её там, как держат то, что нельзя показывать, — и в первый раз показала, потому что чужой человек спросил.

Я до сих пор не понимаю, зачем.

Щёлк. Огонёк встал ровно, высоко, с первого раза.

Он наклонился к нему — и накрыл ладонью, от ветра, как делают все. Ладонь, пальцы, сигарета, огонь. И на безымянном — перстень. Серебро, тёмное, как старое. И на перстне — ромб. Крошечный, с решёткой внутри.

Тот же.

Я держала зажигалку, и на ней был ромб, и он держал ладонь над огнём, и на ладони был ромб, и они стояли рядом, в десяти сантиметрах, в одном свете. Я не рассматривала. Мне не надо было. Это вошло сразу, как входит холод, когда открывают дверь на улицу, — и осталось.

Он прикурил. Выпрямился. И посмотрел не на меня — на зажигалку. Одну секунду дольше, чем смотрят на зажигалку.

— Красивая, — сказал он. — Твоя?

«Твоя». На «ты». Я его не переводила.

— Нет.

Это вышло само. Я могла сказать «моя» — что ему до неё. Не смогла. Она была не моя, и врать про неё этому человеку — я почему-то знала, что нельзя. Как нельзя врать про адрес тому, кто его и так знает.

— Чужая.

Он кивнул. Медленно. Как будто я подтвердила что-то, что он и так решил.

— Чужое надо возвращать.

— Верну.

Пауза. Ветер. Вода стукнула в парпет. Он затаился, выдохнул в сторону — вежливо, — и сказал тихо, почти по-дружески:

— Верни.

Одно слово. Но он положил в него столько, что я почувствовала это плечами — той самой курьерской спиной, которая слышит всё. Это была не просьба. И не совет. Это было то, что говорят, когда уже решили за тебя.

Я убрала зажигалку обратно в куб, в тот же карман на молнии, и застегнула. Он проследил за рукой.

Мы стояли. Он курил. Пакет висел у него в руке, и он ни разу на него не посмотрел. Я не уезжала, потому что уехать сейчас значило бы показать, что я хочу уехать, а этому человеку я не хотела показывать ничего.

— Ладно, — сказал он наконец. Легко, как заканчивают разговор, который был приятным. И пошёл к машине.

И уже с открытой дверцей, через плечо, не оборачиваясь:

— Хорошего вечера, Либерти.

У меня остановилось всё.

— Откуда вы...

Он обернулся. Улыбнулся — по-настоящему, тепло, как улыбаются хорошей шутке:

— В заказе было написано.

Мои слова. Мои — с набережной, Рэму, из того дня с салфетками. «Имя твоё. В заказе было написано». Он их не мог знать. Он их не слышал. И он их сказал — теми же словами, с той же интонацией, — и это значило либо совпадение, либо то, что Рэм ему рассказал. И я не знала, что хуже.

Он не сел в машину. Отпустил дверцу, подошёл к лавке и поставил мой пакет рядом с первым. Аккуратно, параллельно, как ставят то, что не собираются трогать.

Два пакета. Два заказа. Оба нетронутые.

Так делал Рэм — три недели назад, на набережной, где солнце и пакеты на переднем сиденье, и я смеялась над ними так, что водитель в соседней машине смотрел на меня как на ненормальную. Рэм заказывал, чтобы я приехала, — и в этом была душа, глупая, мужская, но душа. А этот заказывал, чтобы я приехала, — и в этом не было ничего. Просто способ. Два пакета на лавке, как две гильзы.

Вот тогда я уехала. Не быстро — я не бегу от тех, кто смотрит, — но первой. Толкнулась, развернулась, и спиной, той самой, знала: он не сел. Стоит у лавки и смотрит мне вслед. На повороте я всё-таки оглянулась — одну секунду, больше нельзя, — и увидела, как он достаёт телефон и подносит к уху. Не торопясь. Как звонят человеку, который возьмёт трубку в любом случае.

Домой я ехала не по маршруту. Я ехала так, как ездят, когда надо, чтобы дорога была длиннее, чем мысль. Не помогло. Мысль была короткая.

Ромб.

На его перстне и на зажигалке Рэма — один ромб. Не похожий. Один. Я видела их в десяти сантиметрах, в одном свете, и там не было «похожий». Там было — одно.

Значит, они из одного. Из чего — я не знала. Но у людей из одного «чего-то» одинаковые знаки на вещах, которые они носят каждый день, и «нельзя терять» — так, наверное, говорят про такое. Рэм пять лет не терял. И потерял — на мне. И этот знал, у кого. «Верни».

Значит, они знакомы. Значит, Рэм рассказал ему про меня — или тот узнал сам, а это хуже. Значит, «не привыкай ко мне» — это было не про меня. Это было про него. Про этого. Про людей, у которых на руке ромб, а на лавке два нетронутых пакета.

Я вспомнила, как Рэм стоял у клуба, и телефон — второй, наощупь, — и «на старом складе», и как у него лицо переключили. И пятно на рукаве, серое, как пыль, и запах железа. Я вспомнила всё это разом, и оно сложилось в линию, как складываются адреса, и линия шла через порт, через ромб, через «верни» — и упиралась в человека, который сказал мне «не привыкай» и потом написал «я не то сказал».

Дома я вытащила зажигалку из куба и положила на стол. И не смотрела на неё. Специально.

Села на кровать, как была, — в юбке, в лонге, с ветром в волосах. Сидела. Потом всё-таки взяла её. Повертела. Щёлкнула — просто так, как в автобусе тогда.

Огонёк встал ровно, высоко. И я вдруг увидела не огонёк — остановку. Час ночи, конец июля, куртка на плечах, тяжёлая, на два размера больше, и его пальцы у воротника, вытаскивающие прядь, и как я забыла слово «спасибо». Это было три недели назад. Это было единственное за год, что случилось со мной не по работе, — и оно было чужое. «Чужое надо возвращать». Куртку я вернула. Зажигалку верну. А то, что было на остановке, — куда это вернуть? Кому?

И тут меня прорвало.

Я не плачу. Это важно: я не умею, у меня это отключили в тот год, когда мама, и с тех пор ни разу. А тут — сидела с горячей зажигалкой в руке и ревела, как ребёнок, беззвучно, с открытым ртом, и не могла остановить. Не из-за него. Не из-за того, в порту. Из-за всего сразу:

из-за Кирилла с телефоном лицом вниз, из-за «не привыкай», из-за «верни», из-за того, что я девятнадцать лет держала всё сама и в первый раз захотела, чтобы кто-то подержал, — и мне сказали, что это чужое.

Погасила. Вытерла лицо рукавом. Лонг был серый, и на нём осталось чёрное — стрелки, те самые, которые я рисую каждое утро, чтобы лицо было моё, а не «курьер, срочно».

Посмотрела в зеркало. Под глазами — чёрным, размазано, как будто кто-то стёр меня ластиком и не дотёр. Надо было умыться. Я не умылась. Не знаю почему. Наверное, потому что умыться значило признать, что было что смывать.

Потом взяла телефон. Открыла «Я не то сказал». Написала: «Сегодня один тоже знал, как меня зовут». Стёрла. Написала: «Кто такой М.?» Стёрла.

Ничего не отправила. Положила телефон экраном вниз.

Кирилл написал «норм». Я ответила «норм». Спросила: «Ты у Стаса был?» Он не ответил. Я посмотрела на «не ответил» минуту, потом закрыла.

Есть было нечего — я всё увезла Кириллу, — и я решила выйти. В магазин, за хлебом, за чем угодно, лишь бы выйти из комнаты, где на столе лежит чужая вещь с чужим знаком. Взяла сумку — без куба, я не на работе, — и в дверях ещё раз увидела себя в зеркале: серый лонг с чёрным на рукаве, чёрное под глазами. Пусть. Хлеб продают и таким. Сбежала по лестнице, толкнула дверь парадной.

На улице после дождя было тихо, мокро, чисто.

Он стоял у стены. Напротив. Чёрная рубашка, руки в карманах, — и на этот раз я не дёрнулась, потому что знала с первой секунды: он.

Рэм.

У моего дома. Адрес которого я ему не давала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.